

Б И Б Л И О Т Е К А

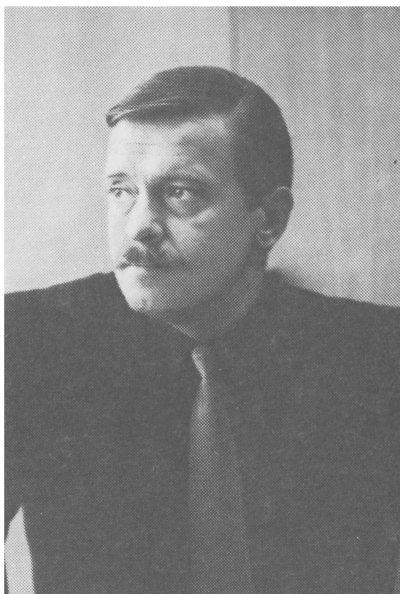
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 20

1989



Вячеслав ПЕЦУХ

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О - ЕРМОЛАЕВСКАЯ ВОЙНА

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 20

Издается с января 1925 года

Вячеслав ПЬЕЦУХ

ЦЕНТРАЛЬНО-ЕРМОЛАЕВСКАЯ ВОЙНА

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1989

Вячеслав ПЬЕЦУХ

Вячеслав Алексеевич Пьецух родился 18 ноября 1946 года в Москве. По образованию учитель истории. Преподавал в московских школах, был корреспондентом радио, затем стал литературным консультантом в журнале «Сельская молодежь».

Впервые напечатался в 1978 году в альманахе «Истоки». Первая книга «Алфавит» вышла в свет в 1983 году, вторая — «Веселые времена» — в 1988 году. Член Союза писателей СССР.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЕРМОЛАЕВСКАЯ ВОЙНА

На самом деле пресловутая загадочность русской души разгадывается очень просто: в русской душе есть все. Положим, в немецкой или какой-нибудь сербо-хорватской душе, при всем том, что эти души несколько не мельче нашей, а, пожалуй, кое в чем основательнее, композиционной, как компот из фруктов композиционнее компота из фруктов, овощей, пряностей и минералов, так вот при всем том, что эти души несколько не мельче нашей, в них обязательно чего-то недостает. Например, им довлеет созидательное начало, но близко нет духа всеотрицания, или в них полным-полно экономического задора, но не прослеживается восьмая нота, которая называется «гори все синим огнем», или у них отлично обстоит дело с чувством национального достоинства, но совсем плохо с витанием в облаках. А в русской душе есть все: и созидательное начало, и дух всеотрицания, и экономический задор, и восьмая нота, и чувство национального достоинства, и витание в облаках. Особенно хорошо у нас почему-то сложилось с витанием в облаках. Скажем, человек только что от скуки разобрал очень нужный сарайчик, объяснил соседу, почему мы победили в Отечественной войне 1812 года, отходил жену кухонным полотенцем, но вот он уже сидит у себя на крылечке, тихо улыбается погожему дню и вдруг говорит:

— Религию новую придумать, что ли?..

Надо полагать, что эта особенность русской души, в свою очередь, объясняется множеством причин самого неожиданного характера, однако среди них есть совсем уж неожиданные и малоисследованные, которые при всей их мнимой наивности представляются такими же влиятельными, как, допустим, широкое распространение лебеды, — например, топонимика, климат и пейзаж.

Топонимика в русской жизни имеет темное, но какое-то электрическое значение. Как бы там ни было, но раз человек у нас родился в городке Золотой Плес, или в поселке Третьи Левые Бережки, или в селе Африканда, или на улице Робеспьера, то это не может пройти для него бесследно. Тем более если принять в расчет, что в Золотом Плесе, предположим, существует проволочная фабрика, и он совершенно заплеван шелухой от подсолнухов, что в Третьи Левые Бережки катер ходит не каждый день, в Африканде только одна учительница английского языка знает, что такое «субъективный идеализм», а на улице Робеспьера от-

существуют фонари. Конечно, возможно, что значение топонимики отчасти преувеличено, но, с другой стороны, ни для кого не секрет, что москвичи так же отличаются от ленинградцев, как слова «губернатор» и «губернер», которые имеют в своей основе единый корень.

Нужно признать, что в приложении к местности, где в июле 1981 года развернулась Центрально-Ермолаевская война, роль топонимики в человеческой жизни очень невелика. Правда, здесь есть городок Оргтруд, но собственно название Ермолаево пошло от Федора Ермолаева, который в двадцать втором году взорвал динамитом здешнюю церковь и таким образом неумышленно вписал в российскую географию свое имя; прежде деревня называлась Неурожайкой, и существует легенда, что это та самая «Неурожайка тож», которая помянута у Некрасова. Почему поселок Центральный называется Центральным, это неизвестно никому.

Что касается климата, то в здешних местах он работает главным образом на разобщение. Например, если допустить, что в Центральном вдруг изобрели вечный двигатель, то в Ермолаеве об этом станет известно не раньше, чем минует одна из двух дорожно-транспортных эпопей. Эта климатическая особенность, как ни странно, имеет серьезный культурный смысл, прямо противоположный тому, который из нее логически вытекает, поскольку при богатстве характеров, поголовном среднем образовании и отсутствии под рукой то того, то другого тут постоянно что-то изобретают. Даже ермолаевский пастух Павел Егоров, в некотором роде реликтовый человек, и тот изобрел новый способ постреливания кнутом, дающий такую воинственную ноту, что ее побаивается даже финский бугай Фрегат. Прибавим сюда бесконечные зимние вечера, уныло озвученные бубнением телевизора или стуком швейной машинки, сверко, который то и дело страшно заговаривает в дымоходе, авитаминоз по весне, а по осени взвесь ключевой воды, матово стоящую в воздухе, — и у нас получится, что климат по крайней мере значительно влияет на психику здешнего человека.

Наконец, пейзаж. Ермолаево стоит совершенно среди полей; по восточную околицу находится заброшенная конюшня, за нею поле, ограниченное речкой под уничтожительным названием Рукомойник, далее черемуховые заросли, потом опять поле с неглубокими, но сырыми оврагами, где буйствуют болиголов, крапива и гигантские лопухи, потом поле плоское, как скамейка, потом несколько кособокое, как шляпка боровика, и только далеко-далеко, возле самого Центрального начинаются перелески. По правую околицу тоже одни поля.

Собственно Ермолаево представляет собой обыкновенную деревню в полсотни дворов, со всеми приметами обыкновенной деревни: с заградочным строением без окошек, возле которого на старинной липе висит обрезок рельса — здешний вечевой колокол, с бревенчатыми колодцами, пахнувшими болотом, с тележным колесом, валяющимся возле бригадного клуба, может быть, еще со времен финской войны, с металлическими бочками из-под солярки, обросшими лебедой, одним словом, со всем тем, что роднит среднерусские деревни между собой в гораздо большей степени, нежели единоутробие близнецов.

В свою очередь, Центральный тоже обыкновенный поселок, даже, если можно так выразиться, минус-обыкновенный, поскольку здесь нет своего клуба, но зато есть автобусная станция, столовая, ремонтные мастерские и большая клумба напротив поселкового Совета, в центре которой стоит гипсовый футболист, покрашенный серебрянкой, а какие-то мелкие розовые цветочки, расположенные вокруг него, искусно выстраиваются в надпись: «Кто не работает, тот не ест».

Спору нет, пейзажи в этой местности так себе, кроткой живописности пейзажи, однако они настойчиво наводят на одну серьезную мысль, на мысль прямо-таки гоголевского полета: эти пейзажи к чему-то обязывают; к чему именно, не поймешь, но к чему-то обязывают — это точно. Говорят, Женевское озеро ни к чему не обязывает, и апеннинские «дерзкие дива природы, увенчанные дерзкими дивами искусства» тоже ни к чему не обязывают, а эта околорусская обязывает, вот только никак не поймешь, к чему. Во всяком случае, она определенно обязывает призадуматься над тем, к чему она обязывает, а это уже немало.

Кроме того, российская околорусская периодически вгоняет человека в то бесовское состояние духа, когда одновременно хочется и заплакать, и засмеяться, и выкинуть что-либо необыкновенное, огневое. Короче говоря, нет ничего неожиданного в том, что в июле 1981 года молодежь деревни Ермолаево и поселка Центральный ни с того ни с сего затеяла между собой форменную войну.

Непосредственные причины ее темны; пожалуй, помимо обстоятельств, основательно влияющих на формирование национального образа мышления, вrede топонимики, климата и пейзажа, причин у Центрально-Ермолаевской войны не было никаких, и посему этот традиционный пункт можно безболезненно опустить. Касательно же сил, вовлеченных в междоусобицу, следует оговориться, что они были вовсе даже не многочисленны: с обеих сторон в ней приняли участие практически все тамошние юнцы, в общей сложности человек сорок, а также участковый инспектор Свистунов, зоотехник Семен Аблязов, тракторист Александр Самсонов и один работник районной конторы «Заготзерно». Силы Центрального возглавлял восемнадцатилетний слесарь-ремонтник по прозвищу Папа Карло, а ермолаевскими верховодил двадцатидвухлетний шофер Петр Ермолаев, внук того самого Ермолаева, который взорвал динамитом церковь.

Как это и случается чаще всего, поводом к началу Центрально-Ермолаевской войны послужил пустяк. 17 июля 1981 года Петр Ермолаев приехал на своем мотоцикле в Центральный, чтобы по поручению дяди выкупить шестой том медицинской энциклопедии. Когда он выходил из книжного магазина, засовывая за борт синей нейлоновой куртки том, возле его мотоцикла стоял Папа Карло и задумчиво глядел на заднее колесо.

— Алё! — сказал Папа Карло. — Сколько стоит этот велосипед?

— Я его в лотерею выиграл, — ответил Петр Ермолаев. — Но вообще-то он стоит пятьсот рублей.

— Вот что, Петро: я тебе за него предлагаю пятьсот пятьдесят, и знай мою широкую душу.

— Нет, Папа Карло, машина не продается. В лотерею выиграть, это, считай, подарок.

Петр Ермолаев отказал так непоколебимо, что Папа Карло понял: ермолаевский мотоцикл ему не удастся заполучить — и с досады решил над Петром немного поиздеваться.

— Слыхал, — сказал он, — в двадцати километрах от твоего Ермолаева егерь набрел на стадо диких коров. Коровы самые обыкновенные, сентиментальской¹ породы, но только дикие.

— Это нереально, — возразил Петр Ермолаев.

— Коровки-то, между прочим, ваши, колхозные, — не обращая внимания на это возражение, продолжал Папа Карло. — Егерь говорит, что это они по лесам от бескормицы разбрелись. Сами, небось, колбасу лопаете, а скотина у вас на хвое. До чего же вы все-таки ермолаевские — лоботрясы и куркули!

Петр Ермолаев от этих слов даже оцепенел. Во-первых, несмотря на то, что Центральный был обозначен на географических картах как поселок городского типа, его обитатели вовсе не считали себя городскими, а, во-вторых, ермолаевские отродясь не отличались ничем, кроме необузданности и нахальства.

— Ты думай, что говоришь! — сказал Петр Ермолаев и постучал себя по лбу костяшками пальцев. — Тоже городской выискался!.. Лапоты ты, Папа Карло, и более ничего!

Теперь уже Папа Карло оцепенел, так как по дикости нрава он давненько-таки не слышал в свой адрес не только что бранного слова, но и подозрительного междометия.

— А если я тебе сейчас в рог дам?! — с ужасной вкрадчивостью спросил он. — Тогда как?!

Папа Карло, несмотря на юношеский возраст, был малый крупный, мощный, снабженный от природы грозно-огромными кулаками, и Петру Ермолаеву было ясно, что в одиночку с ним, конечно, не совладать. Он посмотрел на обидчика вдумчиво, проникновенно, как смотрят, решая про себя навеки запомнить то или иное мгновение жизни, потом завел мотоцикл, сел в седло, дал газ и немедленно окутался тучами желтой пыли.

— Таким лоботрясам, — крикнул ему вслед Папа Карло, — только на лотерею надеяться и остается!..

Этого напутствия тем более невозможно было спустить, и Петр Ермолаев взял с себя слово при первом же удобном случае поквитаться.

Такой случай выдался два дня спустя после того, как он сцепился с Папой Карло возле книжного магазина, — это было 19 июля, День полевода. На праздник в Ермолаево понаехали гости со всей округи, вклю-

¹ то есть симментальской.

чая весьма отдаленный городок Оргтруд и несколько деревень, названий которых ермолаевские даже и не слыхали. Поселок Центральный был представлен на Дне полевода вечерней сменой слесарей-ремонтников во главе с Папой Карло и букетом девиц самого бойкого поведения.

Около трех часов пополудни правый берег Рукомойника стал заполнять народ. Мужчины явились в темных костюмах с неперменной расческой, засунутой в нагрудный карман, в белых рубашках, преимущественно застегнутых на все пуговицы, и в сандалиях; на женщинах были бедно-пестрые платья и газовые косынки, повязанные, если так можно выразиться, отрешенно, как будто ими хотели сказать, что надеяться больше не на что, ну разве на чудеса; молодежь была одета демократично.

Вскоре на грузовике приехал буфет, потом наладили громкоговоритель и начались танцы. В первом перерыве между танцами сельсоветский сказал речь о значении хлеба, во втором вручали почетные грамоты, а в третьем одна из приезжих девиц залезла в кузов грузовика и спела заразительную частушку:

Вологодские ребята
Жулики, грабители,
Мужичок г... возил,
И того обидели.

Затем гости пошли по дворам угощаться, затем ермолаевский драматический кружок дал небольшой концерт, затем опять начались танцы — словом, праздник в высшей степени удался. Правда, тракторист Александр Самсонов было выехал на бульдозере разгонять народ, но его слегка поучили и отправили отсыпаться. Однако ближе к вечеру, когда ввиду надвигавшихся сумерек танцы перенесли в клуб, а если точнее, то вскоре после того, как зоотехник Аблязов в четвертый раз завел «Танец на барабане», позади клуба разразилась крупная потасовка. Увертюрой к ней послужила следующая сцена: Петр Ермолаев подошел к Папе Карло, отвел его в сторону и сказал:

— Ну что, Папа Карло, весело тебе у нас?

— А то нет,— ответил Папа Карло и плюнул на пол.

— Сейчас будет скучно.

С этими словами Петр Ермолаев широко размахнулся и смазал своего обидчика по лицу. Тот только крикнул и пошел на выход, набывшись, как финский бугай Фрегат.

За клубом человек пять ермолаевских немедленно приняли Папу Карло в дреколье и кулаки, однако на выручку к нему подоспела вечерняя смена слесарей-ремонтников, и по-настоящему поквитаться не удалось. Впрочем, можно было с чистой совестью утверждать, что Папа Карло свое получил, и парни из Центрального первое сражение проиграли. Побили слесарей, правда, не очень крепко, но в сопровождении тех унижительных выходов и словечек, которые хуже любых побоев.

Именно поэтому парни из Центрального сочли себя оскорбленными не на жизнь, а на смерть и договорились нанести немедленный контрудар. Добравшись до родного поселка на попутном грузовике, они подняли на ноги утреннюю смену слесарей-ремонтников, трех шоферов, кое-кого из учащихся средней школы и на грузовике же, но только не на давешнем, а на другом, обслуживавшем ремонтные мастерские, вернулись в деревню мстить.

Было еще не так чтобы очень поздно, часов одиннадцать или начало двенадцатого, однако на дверях клуба уже висел большой амбарный замок. Деревенская улица тоже была пуста и не подавала никаких признаков жизни, если только не брать в расчет, что по дворам томно побреживали собаки, но вдалеке, у заброшенной конюшни, теплился загадочный костерок. Ребята из Центрального были так огорчены, как если бы их обманули в чем-то большом и важном, и только предположение, что это не кто иной, как противник, полуночничает у дальнего костерка, вселяло в них бодрость духа.

Возле полупотухшего костерка сидела компания ермолаевских мальчишек, которые пекли в золе картошку и вели свои беспечные разговоры. Как ни сердиты были парни из Центрального, они не могли себе позволить отыгаться на мелюзге. В результате с мальчишек всего-навсего снимали штаны и бросили их в костер, да напоследок, чтобы как-то избыть досаду, помочились в кружок на угли, картошку и тлеющие штаны.

Путру ермолаевские мальчишки рассказали старшим братьям о визитке слесарей, и единодушно было решено провести ответную операцию. В ночь на 22 июля ермолаевские явились в Центральный и нанесли поселку заметный ущерб: они побили фонари вокруг автобусной станции, разорили клумбу напротив поселкового Совета, при этом обезглавив гипсового футболиста, отлупили одного подгулявшего слесаря, поломали ворота у Папы Карло и сняли карбюраторы с двух тракторов «Беларусь».

На обратном пути ермолаевские пели песни, а их вождь время от времени выкрикивал навстречу ветру следующие слова:

— Вот это жизнь, а, ребята?! Вот это, я понимаю, жизнь!

В дальнейшем Центрально-Ермолаевская война приняла затяжной характер, деятельно-затяжной, но все-таки затяжной. Произошло это вот по какой причине: в Ермолаеве временно поселился участковый инспектор Свистунов. Под вечер 24 июля парни из Центрального погрузились в автобус и поехали в Ермолаево, имея в виду дать деревенским решающее сражение, но на мосту через Рукомойник они неожиданно повстречали Свистунова и сочли за благо ретироваться. Правда, Свистунов был не в полной форме, а, просто сказать, в фуражке, майке, галифе и домашних тапочках, и тем не менее Папа Карло заподозрил подвох; больше всего было похоже на то, что ермолаевские смалодушничали.

ли и придали конфликту официальное направление. Итак, вечером 24 июля Папа Карло уговорил свою компанию отступить.

По возвращении восвоися много шумели: нарочно ермолаевские заманили к себе участкового инспектора или он оказался у них случайно? К единому мнению, разумеется, не пришли, но в результате настолько ожесточились, что если бы не зоотехник Семен Аблязов, подгулявший в Центральном на свадьбе своей сестры, война наверняка приняла бы не позиционное, а какое-то более жесткое направление.

Зоотехник Аблязов был неожиданно обнаружен на автобусной станции, возле кассы, у которой он подремывал, стоя, по-лошадиному, и будто нарочно, для вящего сходства, время от времени всхрапывал и вздыхал. Слесари подхватили его под руки и отволокли на двор к Папе Карло, положив наутро во что бы то ни стало выудить у него сведения, однозначно отвечающие на вопрос: нарочно ермолаевские заманили к себе участкового инспектора Свистунова или он оказался у них случайно.

Заперли Семена Аблязова в баньке, стоявшей позади дома. Утром он проснулся чуть свет и долго не мог понять, где он находится и зачем. То, что он сидел в баньке, было ясно как божий день, но вот у кого в баньке, почему в баньке? — это была загадка. Аблязов покричал-покричал и смолк.

В восьмом часу его посетил Папа Карло; он вошел в предбанник, сел на скамейку, закурил и сказал:

— Зачем у вас в Ермолаеве околачивается Свистунов?

— Это допрос? — поинтересовался Аблязов.

— Допрос, — сказал Папа Карло.

— В таком случае я отказываюсь отвечать.

Папа Карло с досадой понял, что он дал маху, что, верно, к Аблязову следовало подъехать не с силовой, а с какой-нибудь располагающей стороны, но было уже поздно: пленный, как выражались в Центральном, уперся рогом.

— Ну, а если мы тебя пытать будем, тогда как? — сказал Папа Карло, хищно прищуривая глаза.

Аблязов оживился; кажется, он был этим предположением сильно заинтригован.

— Интересно, — спросил он, — как же вы меня рассчитываете пытать?

— А вот посадим тебя на одну воду, небось, сразу заговоришь! Или можем предложить раскаленные пассатижи.

В пассатижи Аблязов не поверил, а пить ему хотелось до такой степени, что перед глазами ходили огненные круги.

— Ладно, пытайте, — согласился он. — Только давайте начнем с воды.

Папа Карло плюнул и вышел вон. Некоторое время он бродил вокруг баньки, а потом присел на охапку дров и начал смекать, как бы ему

вывести зоотехника на чистую воду. Из-за стен баньки слышалось невятное бормотание.

— Алё! — громко сказал Папа Карло. — Ты чего там, Семен, бубнишь?

— Ась? — донеслось из баньки.

— Я говорю, ты чего там бубнишь? Помираешь, что ли?

— Нет, это я стихотворение сочиняю. У меня такая повадка, пока я не отремонтируюсь: стихотворения сочинять.

— Ну, а чего ты там сочинил?

— А вот послушай:

Чем веселее на улице пение,
Тем второстепенней зарплаты значение...

— А что?! — сказал Папа Карло. — Законный стих!.. Жизненный, складный, политически грамотный. Тебе бы, Семен, в газетах печататься, а не телок осеменять. Ты в газеты-то посылал?

— Посылал, — донеслось из баньки вместе с протяжным вздохом. — Не печатают они, сукины дети, моих стихов. Говорят, с запятыми у меня получается ерунда.

— Дурят они тебя. На самом деле твои стихи не печатают потому, что характер у тебя пакостный, потому что твои стихи только напечатай, как ты сразу потребуешь персональную пенсию. И во всем ты такой! Например, тебя по-человечески просят рассказать, зачем у вас в Ермолаеве околачивается Свистунов, а ты из себя строишь незнамо что!

Банька ответила тишиной.

Вскоре на двор к Папе Карло явились за новостями несколько слесарей. Поскольку желанных новостей не имелось, команда посовещалась и решила-таки прибегнуть к помощи пассатижей. Папа Карло сбегал за ними в сарай, слесари тем временем затопили печь в летней кухне и после того, как пассатижи раскалили до малинового сияния, так что от промасленных концов, которыми обернули ручки, пошел вонючий дымок, всей командой ввалились в баньку.

Увидев раскаленные пассатижи, решительные физиономии слесарей и сообразив, что дело принимает нешуточный оборот, Аблязов сразу поник лицом. Он уже рад был бы ответить на любые, самые каверзные вопросы, однако он не только не знал того, зачем Свистунов «околачивается» в Ермолаеве, но и того, что в Ермолаеве «околачивается» Свистунов. Впрочем, неведение в некотором роде облегчало аблязовское положение, ибо у него не было искуса повести себя малодушно. С отчаяния он играл желваками и даже улыбался, но все-таки руку ему попортили в двух местах.

Так как толку от Аблязова парни из Центрального не добились, около обеденного времени они отпустили его пить пиво и стали советовать, как быть дальше. В конце концов Папе Карло пришлось на мысль заслат в Ермолаев своего человека; человек этот, именно один работник районной конторы «Заготзерно», приходился шурином Папе Карло.

Он как раз собирался в Ермолаево по делам, и его обязали навести справку относительно инспектора Свистунова, каковую он впоследствии и навел.

В свою очередь, ермолаевские были до такой степени обеспокоены пассивностью неприятеля, что попросили тракториста Самсонова, который направлялся в Центральный менять поршневые кольца, разнюхать, не готовятся ли тамошние как-либо диковинно отомстить. Однако Самсонов никаких сведений не представил, ибо ему принципиально всучили такие поршневые кольца, что он намертво встал в двух километрах по выезде из Центрального и с горя заявился домой в невменяемом состоянии.

Между тем работник «Заготзерна» исправно донес о том, что участковый уполномоченный Свистунов просто-напросто гостил в Ермолаеве у своего двоюродного брата, что утром двадцать девятого числа он надолго отбывает в Оргтруд и что в тот же день вечером вся ермолаевская молодежь соберется в клубе на репетицию пьесы «Самолечение приводит к беде», которую сочинил тамошний фельдшер Серебряков.

Таким образом, на 29 июля наметился переход от позиционного периода к боевому. Как оно наметилось, так и вышло: утром того памятного дня ермолаевские избили водителя поселкового грузовика, который вез продукты из Оргтруда и неосмотрительно остановился у Рукомойника освежиться, а вечером произошло, так сказать, Ермолаевское сражение.

Около пяти часов вечера парни из Центрального погрузились в автобус, прихватив с собой велосипедные цепи, обрезки шлангов и картонный ящик, обернутый мешковиной. В седьмом часу автобус остановился возле моста через Рукомойник, команда спешила и стала дожидаться сумерек, так как ударить было решено под покровом ночи. Чтобы скоротать время, сначала выкупались в реке, а потом развели костер, уселись вокруг него и принялись за скабрзные анекдоты. Наконец, на синюшном небе проступила первая, сумеречная звезда, парни из Центрального затушили костер и цепью тронулись на деревню.

В это время ермолаевская молодежь, как и было обещано, репетировала пьесу «Самолечение приводит к беде». Режиссировал фельдшер Серебряков; он сидел на бильярдном столе, держа между пальцами самкрутку, и говорил:

— Вы поймите, товарищи, что тут у нас драма, почти трагедия. Потому что человек из-за этого... из-за вольнодумства, вместо того, чтобы вылечиться, еще хуже заболевает. Тут, товарищи, плакать хочется, а вы разводите балаган! Давайте эту сцену сначала! Давай, Ветрогонов...

Щуплый, не по-деревенски бледный паренек, представлявший Ветрогонова, шмыгнул носом и произнес свою реплику:

— Я признаю исключительно народные средства. Например: сто граммов перца на стакан водки.

— Вступает Правдин, — распорядился Серебряков.

— На такое лечение денег не напасешься,— вступил Правдин, которого изображал Петр Ермолаев.— Если, конечно, их не печатать.

— Отлично, Правдин! — похвалил его Сергей Петрович и показал большим пальцем вверх.— Теперь опять Ветрогонов.

— Мне печатать деньги ни к чему, я всегда от жены заначку имею...

— Нет,— оборвал парнишку Серебряков,— так не пойдет! Ты давай говори эти слова, как сказать... развратно, что ли, потому что в разделе «Действующие лица» у нас имеется примечание: «Роман Ветрогонов, молодой механизатор, любитель семейной свободы». А ты эти слова так говоришь, как будто прощения просишь. Повтори еще раз!

— Мне печатать деньги ни к чему, я всегда от жены заначку имею,— повторил Ветрогонов, сооротив такую дурацкую мину, что прочие действующие лица прыснули в кулаки.

— Это абсурдные слова,— сказал Правдин.— В семье все должно быть обоюдно, при полном согласии сторон. Потому что семейное счастье — явление хрупкое. Оно складывается из трех категорий: духовной, физической, материальной. И материальная база в семейном счастье занимает не последнее место, поэтому получку ложки в одно место с женой. Чем крепче семья, тем крепче отечество!..

— Так! — сказал Серебряков.— Теперь у нас идут звуки из-за кулис: «мычание коров, блеяние овец, рев быка». Пашка?! Куда подевался Пашка?

— Я тут,— отозвался пастух Павел Егоров, которому из-за придурковатости смогли доверить только «звуки из-за кулис», и добросовестно изобразил то, что от него требовалось.

— Так! — сказал Серебряков.— Правдин уходит, остается один Ветрогонов. Эх, полечиться, что ли...

— Эх, полечиться, что ли,— покорно повторил Ветрогонов.

— «Берет стакан,— начал читать ремарку Серебряков,— сыплет в него перец, ромашку, ревен, ваниль, заливает водкой, размешивает, подносит ко рту». Тут у нас снова голос из-за кулис...

— Самолечение приводит к беде! — произнес Павел Егоров гробовым голосом, выглянул из-за трибуны, выкрашенной под орех, и деланно рассмеялся.

— Это кто-то говорит?! — довольно натурально произнес Ветрогонов.— Привидение, что ли?

— В привидения верят только старые бабки и дураки,— ответил ему Правдин, выйдя из-за кулис.— Это говорит голос разума...

Как раз на словах «это говорит голос разума» противник из Центрального, скрытно вторгнувшийся в Ермолаево, завершил окружение клуба широким полукольцом, и Папа Карло начал распаковывать ящик, в котором оказались бутылки с зажигательной смесью, приготовленные

поселковым умельцем по прозвищу Менделеев. Разобрав бутылки, ребята из Центрального изготовились и застыли.

В клубе тем временем зажгли свет, и ярко вспыхнувшие окошки отбросили на мураву огромные бледные прямоугольники. Где-то вдалеке промышчал теленок, промышчал жалобно, призывно, точно пожаловался на что-то. Явственно слышался голос Петра Ермолаева, разоблачавшего народную медицину. На крыльцо вышел какой-то парень с крошечной звездочкой сигареты, несколько раз затянулся и через минуту исчез за дверью.

— Пора! — сказал Папа Карло, и в окна клуба полетели бутылки с зажигательной смесью: зазвенело стекло, раздался надрывный визг, дробно, панически застучали по полу ноги; потом из окон повалил масляно-черный дым, погас свет, и внутренность клуба зловеще озарилась занимающимся огнем.

Расчетам вопреки ермолаевских не сломила внезапность и причудливость нападения. Повыскакивав из клуба и напоровшись на парней из Центрального, они почти сразу опомнились и оказали неприятелю жестокий отпор. С четверть часа ситуация оставалась невнятной: кто сдает, кто берет верх, — этого было не разобрать. Только жутко свистели в воздухе велосипедные цепи, со всех сторон слышалось горячее дыхание, дикие возгласы, матерщина. Петр Ермолаев свирепо раскидывал слесарей, приговаривая:

— Эх, кто с мечом к нам придет!.. — дальше он почему-то не продолжал.

Папа Карло воевал молча.

Однако когда уже сделалось так темно, что своих от чужих отличить было практически невозможно, ребята из Центрального вынуждены были отойти сначала к заброшенной конюшне, а там и к Рукомойнику, где их поджидал автобус.

Очистив деревню от неприятеля, ермолаевские вернулись в клуб подсчитать потери. Собственно, потери были исключительно материальные, если не принимать во внимание ссадины, шишки и синяки: в клубе были побиты стекла да сгорели бильярдный стол, сундук, в котором хранили елочные украшения, и два никудышных стула. Тем не менее эти мизерные потери были приняты близко к сердцу, и ермолаевские, морщась от запаха гари, стали прикидывать, как бы опять же Центральному отомстить. Предложения были следующие: отравить дустом поселковую пасеку, которую постоянно вывозили на ермолаевскую гречиху, разобрать избу Папы Карло, взорвать ремонтные мастерские. Но ни одному из этих предложений не суждено было осуществиться, так как в силу некоего космического происшествия Центрально-Ермолаевская междоусобица неожиданно пресеклась.

На другой день рано утром, едва отзвонил обрезок рельса, и путем несправившийся народ направился на работы, тракторист Александр Самсонов начал распространять беспокойно-любопытную весть: будто

бы 31 июля ожидается последнее в двадцатом столетии полное солнечное затмение.

Эта весть почему-то произвела на деревне смуту: старики злобно взбодрились, видимо, предвкусывая исполнение библейского обещания, ермолаевские среднего возраста немного занервничали, глядя на стариков, молодежь же принялась коптить стекла. Стекла коптили буквально с утра до вечера, используя на это дело каждый досужий час. Петр Ермолаев пошел еще дальше: он взял отгул и сел сооружать маленький телескоп, на который пошла «волшебная трубка», то есть калейдоскоп, два увеличительных стекла, два дамских зеркальца и старинный светец, обнаруженный за рулоном толи на чердаке.

В пятницу 31 июля все ермолаевское население с раннего утра высыпало на работу, молча простояло возле своих дворов до тех пор, пока не увидело обещанного затмения. Это была по-своему пленительная картина: раннее утро, еще свежо, улица, сотни полторы ермолаевских, которые задрали головы и с самыми трогательными выражениями смотрят в небо, полная тишина; впечатление такое, что грядет какая-то небывалая общечеловеческая беда или, напротив, обязательное и полное счастье; чувство такое, что если сверху ничего так-таки и не упадет, то это будет ужасно странно; а тут еще Петр Ермолаев забрался с телескопом на крышу своей избы и до страшного похож на жреца, который готовится к общению с небесами.

Солнце довольно долго не подавало признаков ожидаемого затмения, и вскоре среди ермолаевских пошел ропот. Но вдруг правый краешек огненного диска тронула легкая пелена, как если бы это место несколько притушили, — толпа вздохнула и обмерла. Затем началось нечто апокалиптическое, похожее на гриппозное сновидение: постепенно стало темнеть, темнеть, внезапно смолкли все звуки, кузнечики в поле и те притихли, и только на ферме дико заревел финский бугай Фрегат; через некоторое время блеснули звезды, и даже не блеснули, а навернулись, что ли, как наворачивается слеза, и немедленно пала ночь; по земле побежал ветерок, пугающий на манер неожиданного прикосновения, затхло-холодный, как дыхание подземелья. Черное солнце смотрело сверху пустой глазницей, оправленной в золотое очко, потусторонним светом горела линия горизонта, и было несносно тихо, по-космическому тихо, не по-земному.

В общем, затмение ошарашило ермолаевских, особенно молодежь. Впечатление от него оказалось настолько значительным, что не обошлось без кое-каких фантазмагорических последствий, например, тракторист Александр Самсонов зарекся пить. Что же касается молодежи, то она на какое-то время притихла, смирилась, как это бывает, когда дети получают заслуженный нагоняй. Собственно, никто не понял, что такое произошло, но все поняли: что-то произошло. Впрочем, во влиятельности небесной механики на нашего соотечественника, равно как и во влиятельности на него топонимики, климата, пейзажа, нет ничего

особенно удивительного, ибо у нас почему-то ничто так не перелопачивает человека и его жизнь, как наиболее внешние, казалось бы, посторонние обстоятельства. Суховеи у нас подчас ставят на край могилы самую российскую государственность, как это было в начале семнадцатого столетия, необузданные пространства и эпидемии определяют направление литературы, хвостатые кометы до такой степени сбивают с толку власти предрержащие, что они провоцируют соседей на интервенции; а разливы рек, уносящие целые погосты? а благословенные русские дороги, имеющие великое историческое значение, так как они испокон веков обороняют нас от врагов? а грамматика нашего языка, которая обуславливает огромную внутреннюю работу? а, наконец, широкое распространение лебеды? Одним словом, не так глупо будет предположить, что солнечное затмение вогнало в меланхолию ермолаевскую молодежь по той самой логике, по какой даже отъявленный негодяй, встретивший похороны, на какое-то время становится человеком.

Можно также будет предположить, что дело тут отнюдь не в небесной механике, суховеях и грамматике русского языка, что просто какой-то основной закон нашей жизни строит универсальные характеры, чрезмерно богатые судьбы и разные причудливые происшествия, от которых так и тянет ордынским духом... Нет, это все-таки сомнительная идея, потому что сомнительно, чтобы фермер из какой-нибудь Оклахомы был нравственно организованнее механизатора из-под Тамбова, чтобы жизнь в Осташковском районе была менее содержательной, нежели жизнь в округе Мэриленд, а там деревенская молодежь все же не так изголяется, как у нас. Следовательно, разгадка все-таки в том, что в русской душе есть все, а все в ней есть потому, что она отчего-то совершенно открыта перед природой, в которой есть все, и, следовательно, дело именно в небесной механике, суховеях и грамматике русского языка.

Итак, сразу после солнечного затмения 31 июля 1981 года Центрально-Ермолаевская междоусобица неожиданно-негаданно пресеклась. Формальный мир был заключен 4 августа, в деревне Пантелеевка, стоявшей на пути в городок Ортгруд, во время тамошнего престольного праздника, на который съехалась вся округа. Петр Ермолаев и Папа Карло столкнулись в самом начале танцев. Папа Карло уже было полез в задний карман за разводным ключом, припасенным на всякий случай, однако вид у врага был до того добродушный, миролюбивый, что на первых порах он решил ограничиться свирепым взглядом из-под бровей. Петр Ермолаев подошел к нему твердым шагом, протянул сигарету, зажженную спичку, потом спросил:

- Затмение видел?
- Ну, видел... — сказал Папа Карло.
- Правда, впечатляет?!
- Ну, впечатляет...
- Слушай, Папа Карло, давай мириться?

Папа Карло оглянулся на своих слесарей, стоявших поблизости наготове, и произнес:

— Мириться мы никогда не против. Если что, ты прости.

— И ты прости, если что, — сказал Петр Ермолаев.

Поскольку от «прости» вообще отечественное «прости» отличается тем, что имеет самостоятельное значение, как правило, избыточное, даже чрезмерное относительно его возбудителя, наступивший мир оказался таким же отчаянным, как и давешняя война. Бывшие неприятели не на шутку сдружились и впоследствии дело зашло так далеко, что было решено осуществить совместную постановку нового опуса фельдшера Серебрякова под названием «Внимание — ботулизм!». Тракторист Александр Самсонов, правда, предупреждал юных односельчан, что их благодушие преждевременно, так как в январе ожидается еще полное лунное затмение, и, принимая во внимание некоторые особенности национального характера, невозможно предсказать, чем оно обернется.

БИЧ БОЖИЙ

Бич Паша Божий, которого каждый день можно видеть в окрестностях поселкового магазина, у автобусной остановки, возле конторы прииска «Весенний» и на острове Бичей, вытянувшемся колбаской в том месте, где в Бурхалинку впадает ручей Луиза, совсем непохож на классического бича. На нем приличный серый костюм, малоношенный свитер, черные армейские башмаки, а из нагрудного кармана пиджака даже торчит сломанная китайская авторучка. Выражение лица у него тоже общечеловеческое, нет в нем ни пространства, ни грустной тупости, которые написаны на физиономиях у бичей, особенно когда они в трезвом виде. Словом, если бы не жестокий загар, отдающий в цвет спелой сливы, какой встречается еще у утопленников, ни за что не скажешь, что Паша — бич.

Среди бичующей братии прииска «Весенний» Паша Божий занимает что-то вроде председательского положения, и это прямо-таки загадка, поскольку у здешних бичей не бывает авторитетов. Тем не менее по всей трассе от Марчикана до Усть-Неры Паша Божий имеет такой же вес, какой в среде обыкновенных людей имеют участковые уполномоченные и беззаветные работяги. Это диковинно еще потому, что Паша сравнительно неофит и бичует не так давно, годика полтора, после того, как он от звонка до звонка отбыл наказание за растрату.

Что-то вроде председательского положения Паша Божий занял по следующим причинам: во-первых, он довольно образованный человек, хотя и получил образование самоучкой, то есть несколько раз перечитал всю лагерную библиотеку, во-вторых, он порядочный человек, и если он кому-то должен двадцать копеек, то наизнанку вывернется, а вернет,

в-третьих, он решительный человек, причем до такой степени решительный человек, что всего за полтора года сумел навести среди товарищей более или менее истинные порядки. Самое удивительное, что в этом направлении он не принимал никаких специальных мер, а просто-напросто всякий раз, когда бичи затевали гадость, он говорил им сквозь горловую слезу (он почти всегда говорит сквозь горловую слезу, видимо, у него это нервное), что они затевают гадость, что хорошо поступать — хорошо, а плохо поступать — плохо, что человек при любых обстоятельствах должен оставаться человеком, одним словом, заводил древнюю-древнюю песню, которая, впрочем, многим была в новинку. То ли бичей на самом деле брали за живое его слова, то ли их ошеломил сам факт действительной нравственности, воплощенной в действительном человеке, но вскоре в поселке перестало пропадать белье, вывешенное для просушки, прекратились междоусобицы и крайне редко нарушались границы владений, с которых собирают урожай так называемого хрусталья. Однако бич Николай по прозвищу Безмятежный, бич Кузькин, сын власовца, и бич Француз, окрещенный Французом за то, что он знал по-французски первый стих «Марсельезы», еще некоторое время безобразничали, но в конце концов товарищи, сговорившись, устроили им обстрел, и они переехали сначала в Сладкое, а впоследствии в Картхалу. Француз, правда, потом вернулся и принялся за свое.

Примерно через неделю после того, как вернулся Француз, в поселке прииска «Весенний» произошел ряд событий, которые неожиданно-негаданно пересеклись, завязались в узел и через короткое время вылились в одну некрасивую, но поучительную историю. В этой некрасивой истории участвовал кое-кто из бичей, главный инженер прииска Новосильцев, его сын Новосильцев-младший, один сержант милицейской службы, кассирша поселкового магазина и апробница Казакова.

Итак, вскоре после того, как вернулся Француз, в поселке прииска «Весенний» произошел ряд событий, которые расположились в следующем порядке. В один из дней первой декады августа очередная съемка, произведенная на полигоне в истоках ручья Мария, не показала ни одного грамма золота. Новосильцеву-старшему всучили в поселковом магазине лотерейный билет, которые он обычно выбрасывал, но на этот раз по рассеянности положил в нагрудный карман своего синего пиджака. Француз где-то украл простыню, дабы сшить себе из нее штаны. Паша Божий сделал ему за это выволочку, и он глубоко затаил обиду. В квартире Новосильцевых починили телефон. Наконец, из-за неисправности водопровода затопило заброшенные ремонтные мастерские, которые издавна оккупировали бичи. Это событие, правда, замечательно только тем, что Паша Божий до нитки промочил свой приличный серый костюм и вместе с прочими пострадавшими отправился сушиться на остров Бичей, где общими усилиями был разведен костер и все, скучившись у огня, стали дожидаться открытия магазина. Одна Маша Шаляпи-

на, тридцатилетняя женщина с лицом внезапно состарившегося ребенка и руками тертого мужика, носившая жакет, вырезанный ножницами из нейлонового плаща, газовую косынку, юбку на вате, один чулок капроновый, другой шерстяной и стоптанные резиновые боты, — одна она бродила по острову и разговаривала с собой. Тем временем Паша Божий, несмотря на крепкую утреннюю прохладу, скинул с себя костюм и развесил его на ветках поблизости от костра. От костюма уже пошел пар, который припахивал потом, когда Француз улучил минуту и отомстил: он незаметно сбросил прутиком Пашин костюм в огонь. Паша с печальным воплем бросился за одеждой, но было поздно: по брюкам и пиджаку уже расплзлись ожоги, превращавшиеся в труху, и всем стало ясно, что Паше этот костюм более не носить. Однако Французу его вредительство безнаказанно не прошло, так как Маша Шаляпина по случаю заметила его манипуляции с прутиком и выдала виновного, что называется, с головой. Француза только что не побили, а так высказали ему все, что к тому времени накопело, и в конце концов было решено изгнать его из компании навсегда. К чести Француза нужно заметить, что такое единодушие товарищей его потрясло: он сказал себе, что уж если бичи его гонят, то это — все, потом встал на колени и горячо предложил с лихвой загладить свою вину.

Бичи поворчали, но согласились.

Вечером того же дня Новосильцев-старший, вернувшись домой из конторы прииска, немного покопался в теплице, где он выращивал помидоры и огурцы, и засел с сыном ужинать в большой комнате, которая у них на южный манер называлась залой. В ту минуту, когда он взял из хлебницы свою излюбленную горбушку, раздался оглушительный телефонный звонок, и горбушка, выскользнув из пальцев, упала в борщ. Новосильцев-старший крикнул, поднялся из-за стола, подошел к телефону, взял трубку: звонили из конторы; диспетчер сообщал, что апробищица Казакова дала промашку и на самом добычливом полигоне последняя съемка не показала ни одного грамма золота. В масштабах прииска это была маленькая трагедия, поскольку план квартала, как выражаются хозяйственники, горел, и Новосильцев-старший вернулся за стол пришибленным, потемневшим, как если бы на него свалилось большое горе. Он было потянулся к другой горбушке, но вдруг замер, дико вытаращил глаза и повалился со стула на пол. Новосильцев-младший бросился к отцу, перевернул его на спину, и от этого движения из тела с тяжелым шелестом вышел воздух. Новосильцев-младший, мониторщик, здоровый малый, подошел к зеркалу, некоторое время смотрел в него, утирая кулаком слезы, а потом изо всей силы нанес удар собственному отражению, расколов зеркало на мелкие серебряные осколки.

Двое суток спустя Новосильцева-старшего хоронили. Погода в тот день выдалась пакостная, как на заказ: было холодно, ветрено, моросило, и два далеких гольфа по прозвищу Черные Братья смотрелись особенно траурно, гармонично.

После того как похоронная процессия покинула кладбище, к Новосильцеву-младшему подошла кассирша поселкового магазина, она взяла его под руку и сказала:

— Я понимаю, что сейчас не время, и тем не менее...

— Что «тем не менее»? — спросил ее Новосильцев.

— Несколько дней тому назад я продала вашему отцу лотерейный билет.

— Ну и что?

— А то, что он выиграл.

— Почему вы знаете, что именно отцовский билет выиграл?

— Я все билеты записываю.

— Это чтобы потом комиссионные собирать?

Кассирша в ответ кокетливо улыбнулась.

— Так что же он выиграл?

— «Москвича».

— Вот это да! — воскликнул Новосильцев и смешно помахал забинтованным кулаком. — Но, с другой стороны, возникает вопрос: где мне теперь этот билет искать?

Кассирша пожала плечами и отошла.

На другой день Новосильцев вытребовав отгул и принялся искать выигравший билет. В течение рабочего дня он успел обшарить все ящики, полочки, разные укромные уголки и даже кое-где отодрал обои, но обнаружить лотерейный билет ему так и не удалось. Вечером он с горя сходил в пивную, стоявшую напротив автобусной остановки, где поведал двум-трем приятелям о новой беде, и вскоре слух о пропавшем билете разнесся по территории, как говорится, равной территориям Франции и Швейцарии, вместе взятым.

Дошел этот слух почему-то в первую очередь до Бичей. Большинство отнеслось к нему равнодушно. Маша Шаляпина заявила, что если бы она выиграла автомобиль, то продала бы его и на вырученные деньги купила бы себе искусственную шубу (по своей наивности Маша предполагала, что искусственные шубы стоят ужасно дорого), Француз заметил: «Дуракам счастье», а Паша Божий откликнулся на слух следующими словами:

— Как утверждает философ Шопенгауэр, в этом мире нет почти никого, кроме сумасшедших и идиотов; боюсь, что философ прав.

Однако очень скоро эта новость поблекла перед другой: Француз сдержал-таки слово и загладил свою давешнюю вину, подарив Паше Божью отличный костюм, который он якобы выменял на эсэсовский кинжал у парикмахера из Палатки, бывшего румынского резидента. Брюки, правда, оказались длинны, но Маша Шаляпина обстригла их ножницами, и вышло, в общем-то, ничего. Паша переоделся в обнову и долго ходил по острову Бичей не совсем ловким шагом, какой иногда появляется у людей, облачившихся в какую-нибудь обнову.

Между тем Новосильцев-младший не отказался от надежды найти билет. Он еще и на другой день рылся у себя в доме, но дело кончилось только тем, что он превратил жилое помещение без малого в нежилое. Ближе к вечеру он решил потолковать с кассиршей поселкового магазина; он пришел под закрытие, облокотился об угол кассы и грустно заговорил:

— Не нашел я билет. Все обыскал, даже половицы повыдергал — нету билета, хоть волком вой!

— А отцовские карманы вы проверяли? — спросила его кассирша.

— Ну, — подтвердил Новосильцев.

— А в таком синем пиджаке вы смотрели? Он в тот день, когда купал билет, был в таком синем бостоновом пиджаке. Как сейчас помню: ваш отец положил билет в нагрудный карман синего пиджака.

Новосильцев тяжелым-тяжелым взглядом посмотрел сквозь стену поселкового магазина.

— Ё-мое! — чужим голосом сказал он. — Мы ж его в этом костюме похоронили!..

Кассирша вскрикнула и прижала ко рту ладонь.

Первая мысль, которая пришла в голову Новосильцеву, была мысль о том, что хорошо было бы потихоньку вырыть тело отца и этим путем завладеть билетом, но, основательно пораскинув умом, он пришел к заключению, что за такую самодетельность по головке его, наверное, не погладят, что придется действовать по закону. Часа, наверное, через полтора он уже находился в Сладком, в районном управлении внутренних дел, где у него был дружок, сержант милицейской службы, маленький человек с пушистыми гренадерскими усами, ера и весельчак. Сержант выслушал Новосильцева и сказал:

— Если бы ты не был такой свистун, то мы бы с тобой все обделали втихоря. А теперь придется заводить целую волокиту с прокуратурой.

И он демонстративно постучал себя по лбу костяшками пальцев.

Вопреки этому предсказанию особой волокиты с районной прокуратурой не завелось, поскольку заместитель прокурора был до такой степени ошарашен и возмущен заявлением Новосильцева, что принципиально выписал постановление об эксгумации и чуть ли не в лицо швырнул его заявителю, как некогда швыряли вызывные лайковые перчатки.

— Он что у вас, не в себе? — спросил Новосильцев сержанта, который поджидал его в коридоре.

— Есть немного, — сказал сержант.

В ночь на 15 августа приятели вооружились лопатами, веревками, карманными фонарями и отправились на приискское кладбище. Ночь была светлая и какая-то сторожкая, притаившаяся, так сказать, ночь-засада.

Дойдя до могилы Новосильцева-старшего, приятели поплевали на ладони и стали копать. По той причине, что из-за вечной мерзлоты могилы в этих краях роются очень мелкими, не прошло и пяти минут, как

сержантова лопата глухо ударила в крышку гроба. Новосильцев-младший вздрогнул, выпрямился и вытер ладонью пот. Некоторое время его колотила дрожь, которую невозможно было унять, но в конце концов он взял себя в руки и снова принялся за лопату. Вскоре гроб вырыли, поставили его на соседний холмик и сняли крышку. То, что приятели увидели, их, во всяком случае, удивило: труп был голый.

— М-да!..— сказал сержант.— Налицо двести двадцать девятая статья. Придется возбуждать дело.

Дело, однако, возбуждать не пришлось, и вот по какой причине. На другой день утром Паша Божий, сидя на корточках возле поселкового магазина, рассказывал бичам о Полтавском сражении и на самом интересном месте полез в нагрудный карман за своей сломанной авторучкой, чтобы начертить на песке схему окружения шведов под Яковцами, и вместе с авторучкой извлек из кармана лотерейный билет, от которого остро припахивало землей. В течении минуты Паша задумчиво рассматривал билет, потом поднялся и пошел в сторону заброшенных мастерских. В мастерских он снял с себя новый костюм, переоделся в лохмотья, которыми были застелены верстаки, и направился в новосильцевскую бригаду, мывшую золото примерно в трех километрах вверх по течению Картхалы.

Новосильцева за монитором не было, он колот кувалдой негабарит, но, почувствовав спиной постороннего человека, обернулся и зло посмотрел на Пашу.

— Ты зачем сюда пришел, охломон?!— сказал он, презрительно сощуривая глаза.— Ты что, не знаешь, что без пропуска появляться на полигоне запрещено?

— Давайте отойдем,— мирно предложил Паша.

Новосильцев немедленно переменялся в лице, точно он догадался, с чем пришел бич, и, бросив кувалду, пошел за Пашей. Отойдя шагов на пятьдесят, они одновременно остановились; Паша Божий опустил на корточки, достал билет и протянул его Новосильцеву.

— Посмотрите,— сказал он при этом,— не ваш ли это билет?

Новосильцев принял бумажку, повертел ее и ответил:

— А черт его знает, думаешь, я помню?! Дома у меня номер записан, а на память я, конечно, не соображу.

— Я вечером зайду,— сказал Паша.— Вы сверьтесь с записью: если номера не сойдутся, вернете билет обратно.

Вечером, в начале седьмого часа, Паша Божий зашел к Новосильцеву домой и по приветливой физиономии хозяина тотчас понял, что все сошлось.

— Прямо я и не знаю, как тебя благодарить!— сказал Новосильцев, вводя Пашу в комнаты.— Давай, что ли, примем на грудь? Ты что больше обожаешь: водку или вино?

— Я водку не пью, — сказал Паша.

— Что касается выигрыша, — продолжал Новосильцев, — то четвертая часть — твоя.

— Мне ничего не надо.

— Ну, ты ненормальный!..

Паша пожал плечами.

— Слушай, а как он к тебе попал?

— Нашел, — ответил Паша и опустил глаза долу.

— В нагрудном кармане синего пиджака?

Паша кивнул.

— Ладно, — сказал Новосильцев, — мы это дело замнем на радостях, только ты признайся: сам откапывал?

— Что откапывал? — спросил Паша.

— Значит, не сам. Тем лучше.

Новосильцев пошел на кухню и через пару минут вернулся в обнимку с банкой кабачковой икры, бутылкой водки и двумя бутылками марочного вина.

— Послушайте, а что это у вас такой разгром? — поинтересовался Паша. — Точно Мамай прошел...

Новосильцев самым добродушным образом рассмеялся.

— Это я лотерейный билет искал, — сказал он сквозь смех. — Еще денька два поисков, и жить было бы негде. Ну ладно, бери стакан. С добрым утром, как говорится!

— А почему «с добрым утром»?

— Ну, это так говорится, чтобы интереснее было пить. Сначала говоришь «с добрым утром», а после того, как выпьешь, «утром выпил — весь день свободен». Это вроде поговорка такая. А вы что, безо всего пьете?

— Мы безо всего.

— Скучный вы народ, бичи, неизобретательный, нету в вас огонька! Паша смолчал.

— Скажу больше: паскудный вы народ — ты уж не обижайся. Ну, посуди: здоровые мужики, а живете как паразиты, бутылки собираете — это же срамota! Неужели вам нравится такая позорная жизнь?

— Вообще бичуют не потому, что нравится.

— А почему?

— Потому, что по-другому уже не могут. В другой раз отколется человек от житья-бытья, да так, я бы сказал, фундаментально отколется, наотрез, что обратного хода нет.

— Не понимаю я этого! — сказал Новосильцев и крепко ударил по столу кулаком. — Ноги есть, руки есть, голова на месте — ну все есть для того, чтобы вернуться к нормальной жизни!

— Нормальная жизнь — это как? — немного слукавил Паша.

— Работать иди! Деньги будешь иметь, общежитие дадут — вот как!

— Да куда идти, в том-то все и дело. В начальники меня не возьмут, в контору какую-нибудь завалящую и то не возьмут.

— На стройку иди, на стройку возьмут.

— Да ведь на стройке, чай, вкалывать надо, а у меня руки спичечный коробок не держат. Я ведь насквозь больной, истлел весь внутри.

— Ну разве что внутри,— недружелюбно заметил Новосильцев.— Снаружи ты еще молоток.

— Это только так кажется. Я еще годика два побичую, и все — холодный сон могилы.

— В таком случае твое дело табак. Как говорится, налицо полное отсутствие перспективы. Только вот что интересно: как же ты дошел до жизни такой?

— Обыкновенно дошел,— сказал Паша и протяжно вздохнул.— В семьдесят восьмом году принял срок за растрату. Отбывал его в Сусумане. В семьдесят девятом жена прислала развод и сразу же вышла замуж. В восемьдесят первом освободился я и на радостях в Сладком загулял. Когда через неделю очнулся — гол как сокол. И есть нечего, и ехать не на что, да и ехать-то, будем откровенно говорить, некуда...

— Слабость это,— сказал Новосильцев.— Не мужик ты, вот в чем беда.

— Ничего не поделаешь, у всякого своя внутренняя конституция.

— Никудышная у тебя внутренняя конституция: говоришь и плачешь.

— Да как же мне не плакать, если я горе лопатой ел?!

— И все-таки я это отказываюсь понимать! Ведь в такой стране живем: палец о палец только нужно ударить, чтобы человек был, как говорится, сыт, пьян и нос в табаке, и тем не менее кое-кто умудряется горе лопатой есть!..

— Никто не обязан быть счастливым,— сказал Паша строго.

— Нет, обязан! — возразил Новосильцев.

— Нет, не обязан!

— Нет, обязан, потому что, если есть возможность достигнуть счастья, человек обязан достигнуть счастья!

— Нет, не обязан, потому что для некоторых счастье — это не счастье, а наоборот!

— Что-то я не врублюсь,— сказал Новосильцев, изображая тупое недоумение.— Ты, что ли, намекаешь на то, что некоторые нарочно наживают себе несчастья? Да ведь это же анекдот, не дай бог за границей узнают про такие наши дела — животы со смеху надорвут!

— Ну, не то чтобы нарочно... Тут, конечно, все немного сложнее, но отчасти, в общем-то, и нарочно. Понимаете, какое дело: есть в нашем характере одна загадочная струна, которая постоянно наигрывает такую строптивую мелодию, в народе она называется «только чтобы не как у людей». Это очень могущественная струна, которая во многом определяет музыку нашей жизни. Даже когда у нас на каждом углу будут бес-

платно раздавать легковые автомобили, каждый десятый станет принципиально пользоваться общественным транспортом или демонстративно ходить пешком. Даже когда у нас созреет полное, всеобщее и, может быть, даже неизбежное счастье, то, уверяю вас, проходу не будет от юродивых, непризнанных гениев и возмутительных одиночек. И это не потому, что каждый десятый у нас просто не приспособлен для счастья или его сбивает с пути струна, хотя тут отчасти и непри приспособленность, и струна, а потому, что наша жизнь как-то заданно, запрограммированно рождает разных намеренных несчастливцев типа генерала Уварова, который в один прекрасный день вышел из дому, погулял по Питеру и исчез...

— Погоди,— сказал Новосильцев и стал разливать спиртное.— Мы с тобой за этими разговорами совсем пьянку выпустили из виду.

— Я даже думаю,— продолжал Паша,— что без этих людей наша жизнь невозможна, без них мы будем не мы, как Афродита с руками уже будет не Афродита. Вы спросите, почему? Да потому, что всеобщее благосостояние — это та же самая сахарная болезнь, и организм нации, если он, конечно, здоров, обязательно должен выделять какой-то горестный элемент, который не позволит нации заболеть и ни за что ни про что сойти в могилу. Вот у нас сейчас действительно нет голодных и холодных, действительно только палец о палец нужно ударить, чтобы завалиться холодильниками и коврами, и тем не менее в другой раз квартала не пройдешь, чтобы какой-нибудь хмырь не стрелнул у тебя двадцать копеек из жалости к самому себе. Или: у нас, слава богу, полная семейная свобода, по разводам, слава богу, держим первое место в мире, и тем не менее в другой раз кружки пива нельзя выпить без того, чтобы тебе не пожаловались на жену...

— Ну, с добрым утром! — сказал Новосильцев, опрокинул в себя стакан, выдохнул и добавил: — Утром выпил — весь день свободен!

— Вот вы говорите — «свободен», — опять завел Паша. — Да где же свободен-то?! На самом деле вы не только не свободны, а вы просто-напросто белый раб! Вы белый раб промышленного производства, собственных потребностей и общественных предрасудков. Кто действительно свободен, так это я! А вы из-за несчастного лотерейного билета чуть собственный дом по бревнам не разнесли!

— Эх, голуба моя! — проговорил Новосильцев, и взгляд его как-то окаменел. — Если бы ты знал, на что я пошел ради этого дурацкого билета, ты бы со мной здороваться перестал. Ведь я из-за него родного отца из могилы вырыл!

— Да ну вас, — отмахнулся Паша. — Вы тоже скажете...

— Даю голову на отсечение, что правда вырыл! — сказал Новосильцев и крепко ударил по столу кулаком. — Вот до чего я черствая, бесчувственная скотина! И главное, непонятно: на хрена мне сдался этот билет?! Ведь я безо всякого билета хоть завтра три «Москвича» возьму

и еще останется на запчасти! Нет, наверное, я точно раб. Послушай, а может, мне того... тоже забичевать?

— А что? — сказал Паша. — Вы не смотрите на нас, среди бичей были и выдающиеся фигуры, например, Хлебников, Горький, Александр Грин... Наконец, кто такой был Иисус Христос, если не самый заправский бич?!

— Погоди, давай еще выпьем, — предложил Новосильцев и уже нацелился разливать спиртное, но Паша торопливо прикрыл свой стакан ладонью.

— Я больше не буду, — сконфуженно сказал он при этом. — Честно говоря, я вино видеть не могу. И вообще: пойду-ка я, пожалуй, домой. То есть не домой, просто пойду, а то совсем уже ночь.

— Тогда давай я тебя провожу?..

— Так я и говорю: некуда меня провожать.

— Действительно... — сказал Новосильцев. — Ну, будь здоров! А костюмчик ты носи, пусть это будет как бы память о нашей встрече. Ты ничего человек, гражданин бич, я отвечаю — положительный человек. Только вот философия у тебя завиральная — чистый идеализм. Я буду говорить откровенно, ты уж не обижайся: прохиндеи твои бичи, алкоголики и полные прохиндеи. Неужели ты и вправду подумал, что Аркадий Новосильцев может забичевать? Да он скорее выроет всех своих предков до тр... сейчас... до тринадцатого колена, чем будет собирать пустые бутылки и похмеляться одеколоном!

Пашу Божия эти слова задели. Сначала он собрался в отместку тоже сказать что-нибудь обидное Новосильцеву, но потом передумал и решил ему по-хорошему объяснить, что-де даже в качестве прохиндея и алкоголика средний бич олицетворяет собой протест против диких благосостоятельных суеверий. Впрочем, ему тотчас пришло на ум, что всякие теории, исходящие от человека в лохмотьях, пахнущих машинным маслом, должны прозвучать неизбежно и именно завирально.

— И билет ты зря отдал, — вдруг сказал Новосильцев с видимой неприязнью. — Дурак ты, дурак!..

— Зря, — согласился Паша.

Я И ДУЭЛЯНТЫ

*Мир должен быть оправдан весь,
Чтоб можно было жить.*

К. Бальмонт

Прежде чем перейти к делу, мне понадобится одно короткое отступление.

Я писатель. Правда, я писатель из тех, кого почему-то охотнее зовут

литераторами, из тех, о ком никогда никто ничего не слышал, из тех, кого обыкновенно приглашают на вечера в районные библиотеки. Однако не могу не похвастаться, что и я немножко белая ворона среди пишущей братии, поскольку я работаю день и ночь, а кроме того, имею особое мнение насчет назначения прозы: я полагаю, что ее назначение заключается в том, чтобы толковать замечательные стихи. Подобное мнение ущемляет божественную репутацию моего промысла и мою собственную значимость как писателя, следовательно, я прав. А впрочем, один мой собрат по перу, некто Л., капризный и много о себе понимающий старичок, утверждает, что книги умнее своих сочинителей. Если это так, то я лишаю поэтов всех привилегий и не претендую на особенного моего литературного дарования, которое определило меня на второстепенные роли. И вот еще что: литературное реноме Николая Васильевича Гоголя вовсе не пострадало из-за того, что Пушкин наскакал его написать «Мертвые души».

Разумеется, я вполне сознаю ценность своего творчества относительно литературного наследия Гоголя, почему и позволяю себе, как правило, трактовать поэтические недосказанности сошки помельче. В данном случае мое воображение задела два стиха Константина Дмитриевича Бальмонта, приведенные выше в качестве увертюры. С другой стороны, меня вдохновила одна неслыханная история, к которой я имел отношение и как свидетель, и как в некотором роде действующее лицо. История эта до того в самом деле дика и невероятна, что диву даешься, как такое могло случиться в наш деликатный век, в нашем добродушном, не помнящем зла народе, в каких-нибудь наших северо-западных Отрадных среди детского писка и развевающегося белья. Во всяком случае, для того, чтобы дать теперь этой истории ход, я вынужден выворачивать наизнанку свое литературное рубище, и если этого покажется мало, то даже присягнуть на здоровье своего двенадцатилетнего сына, лгуна, балбеса и двоечника, что все, о чем пойдет речь в дальнейшем, правда, и только правда.

Завязкой этой истории послужило изобретение инженером Завязтовым какого-то особенного пневматического молотка. Я знаю Завязтова понаслышке и никогда не видел его в глаза, но полагаю, что его последующие поступки обязывают меня изобразить Завязтова человеком лет тридцати пяти с неаккуратной прической, отсутствующим взглядом, непоседливыми руками, в брюках по щиколотку, в пиджаке с загнущимися вперед лацканами и секущимися рукавами.

Насколько мне известно, вплоть до изобретения пресловутого пневматического молотка знакомые Завязтова были о нем самого ничтожного мнения, хотя одна женщина загодя говорила, что в нем есть что-то потустороннее, демоническое; с этой женщиной он потом жил.

Другой герой моего рассказа — молодой человек по фамилии Букин, ответственный секретарь одного технического журнала, почему

я с ним, собственно, и знаком: когда-то, в незапамятные времена я сам работал в этом журнале чем-то вроде мальчика на посылах. Вообще Букин производит располагающее впечатление, разве что в нем смущает редкая в наше время и, по моему мнению, предосудительная страсть к игре на бегах и дымчатые очки, которые придают ему надменное выражение.

Кроме этих двоих, в описываемой истории были замешаны женщина, редакция одной столичной газеты и кандидат юридических наук, специалист по римскому праву, некто Язвицкий.

Дело было так. В прошлом году, в сентябре, Завязтов подал заявку на авторские права. Одновременно он из тщеславных соображений принес в редакцию журнала, где служил Букин, статью собственного сочинения, в которой расписывал достоинства молотка. Отдел, куда попала статья, переадресовал рукопись Букину, а тот нашел, что все это в высшей степени чепуха. Букин еще не успел положить рукопись в «гибельный» ящик письменного стола, как Завязтов явился в редакцию за ответом. Его объяснение с Букиным, продолжавшееся вплоть до обеденного перерыва, относится к той категории разговоров, при воспоминании о которых внутри образуется нервное неустройство. Они разошлись врагами, вспыхнул (я этот глагол потом заменил) такой ненавистью друг к другу, что некоторое время просыпались и засыпали с одной только думой: как бы неприятелю отомстить. Вспоминая про Букина, Завязтов называл его титулярным советником, сволочью и тупицей, а Букин, вспоминая Завязтова, находил успокоение исключительно в том, что, вероятно, имеет дело с помешанным, каких на своей должности он видел немало; потом он даже наказал вахтеру, чтобы впредь Завязтова не пускать.

История эта, возможно, так и закончилась бы заурядным скандалом, если бы Букину не пришла в голову мысль и вправду отомстить изобретателю молотка за те оскорбительные намеки, которые тот по его поводу отпустил. В другой раз эта мысль вряд ли пришла ему в голову, так как Букин был человеком отходчивым и незлобным, но накануне его при всех ударила по лицу одна молодая женщина, которой он с год не давал проходу. Теперь он то и дело вспоминал про эту пощечину, и перед ним вставал ужасный вопрос: почему такое он терпит поношение от мерзавцев, почему не научится себя защищать — мужчина он или же размазня? Этим вопросом Букин со временем до того себя распалил, что решил написать в одну газету, где у него был приятель, тоже любитель бегов, язвительную статью под названием «Изобретатель велосипедов». Недели через две замысел был осуществлен, и статья увидела свет. А еще через неделю Завязтов подстерел Букина у подъезда, и между ними произошел следующий разговор:

— Это вы написали гаденький пасквиль о моем изобретении? — сказал Завязтов, бегая глазами и медленно вынимая из кармана правую кисть.

— Я,— сказал Букин и панически улыбнулся.

— Вы поступили неосмотрительно. Вы подумали, что скажут о вас потомки?

Букин смолчал, так как, по его мнению, потомки тут были решительно ни при чем. Завятов же, не дождавшись ответа, неловко размахнулся и ударил Букина по лицу.

Теперь попробуйте представить себя на месте человека, который в течение месяца получил две пощечины, и, если вы не лишены некоторого воображения, вам откроется самая мучительная комбинация чувств. Букину было и стыдно себя, и жалко себя, и ежеминутно изводило желание как-нибудь неслыханно отомстить. Но пока он выдумывал, как бы это ловчее сделать, Завятов опередил его и в том, что касается усугубления ненависти, и в том, что касается жажды мести, возможно, он действительно был не совсем здоров.

В одно прекрасное утро Букин получает письмо. «Милостливый государь (именно «милостливый», а не милостивый)! — пишет ему Завятов. — Если вы думаете, что мы окончательно расквитались, то вы ошибаетесь. Я оскорблен вашей грязной статейкой не на жизнь, а на смерть. Подлость, которую вы совершили против отечественной науки и техники, смоемся только кровью. Я вызываю вас на дуэль. Если вы не баба и не тряпка, то соглашайтесь. Я пришлю за ответом своего секунданта. Завятов».

— Прекрасно! — воскликнул Букин, прочитав письмецо, и нехорошо засмеялся. — Дуэль? Прекрасно! Пусть будет дуэль! — От ненависти к Завятову и перспективы крови у него что-то задергалось в голове.

Два дня спустя к Букину в квартиру явился завятовский секундант, та самая женщина, которая загодя угадала в Завятове что-то потустороннее, демоническое; фамилия ее была Сидорова. Не переступая порога, эта женщина потребовала ответа на завятовский вызов и тут же оговорила, что в случае отказа от дуэли она просто его убьет. Оговорившись, Сидорова испытательно посмотрела ему в глаза. В этом взгляде сквозила такая лютая сила, которая даже не может быть свойственна женщине, и Букин оторопел. Он ответил, что принимает вызов, но от смятения говорил как-то робко, и Сидорова, уходя, презрительно улыбнулась. После этого он и Сидорову стал ненавидеть.

Несколько дней Букин прожил в полубомбочном состоянии. С одной стороны, он по-прежнему терзался ненавистью и в душе торопил развязку, но, с другой стороны, ему было досадно, что он из-за пустяков попал в переплет, который принял уж слишком зловещее, несвременное продолжение; вообще у него было такое чувство, точно вдруг незаметно сломалось время и мир повернулся назад, к сожжению ведьм, избитию младенцев, антропофагии. Эта сторона дела очень смущала Букина, и он даже подумывал, не отказаться ли от дуэли, сославшись на то, что его враг — клинический идиот. К сожалению, от дуэли он так и не отказался; более того, он неожиданно постиг спасительный

смысл той этической категории, которая прежде обозначалась выразительным словом «честь».

Поединок было решено обставить традиционно. Завятов два дня просидел в Исторической библиотеке и выписал из Дурасовского кодекса все, что касается правил и церемониала. После этого Букин дважды встречался с Сидоровой; на первом свидании, назначенном возле пригородных касс Ярославского вокзала, решался вопрос, как драться, то есть насмерть или до первой крови, — решили, до первой крови; на другом свидании выбирали оружие. Это оказался сложный вопрос: пистолеты взять было негде, поножовщина претила обоим, фехтовать не умел ни тот, ни другой. Наконец, в качестве дуэльного инструмента выбрали спортивные луки. На луках остановились, во-первых, потому, что у Сидоровой были знакомые лучники из общества «Локомотив», а во-вторых, потому что, по справкам, на церемониальной дистанции из спортивного лука нельзя было нанести смертельную рану. Правда, оставалась опасность попадания в голову, но к этой опасности дуэлянты отнеслись легкомысленно, рассудив, что в конце концов это все-таки дуэль, а не пьяная потасовка.

Когда все детали поединка были оговорены, Букин стал искать секунданта. Не знаю, что его дернуло, но он явился ко мне. Я выслушал его, не веря своим ушам, несколько раз справился, не дурочит ли он меня, и в конце концов послал к черту. Букин сказал, что он пошутил, мы посмеялись и выпили по маленькой коньяку, который я прячу от жены в солдатской фляге на антресолях.

К тому времени я уже был серьезно озадачен теми двумя бальмонтовскими стихами, которые предвеляют эту историю. Из них выплывался какой-то рассказ. Душа его уже проклюнулась, но телесности не было никакой, и я ухватился за букинский анекдот, в котором мне почудилась соответствующая телесность. Я уже было засел писать, но дело, как я ни силился, не пошло. Сомневаюсь, чтобы мне удался даже плохой рассказ, скорее, я бы вообще никакого не написал, уж больно тяжеловесной оказывалась телесность, но тут ко мне опять заявился Букин. Он был чуть ли не в лихорадке. Я спросил его, что стряслось, и он признался, что давеча не соврал, что дуэль действительно намечается, а пока стороны решают следующую проблему: если дело закончится серьезным ранением одного из соперников, то каким образом избавить другого минимум от суммы, максимум от тюрьмы? Эта проблема оказалась настолько сложной, что враги решили было обратиться в юридическую консультацию. Впрочем, они вовремя опомнились, и все кончилось тем, что Сидорова, у которой вообще оказалась масса полезных знакомств, свела дуэлянтов с юристом Язвицким.

Язвицкий принял их у себя на даче. Во время разговора он держался заносчиво, но совет дал дельный. Он посоветовал, запасаясь четвертинкой водки, в случае рокового исхода опить пострадавшего и затем безбоязненно доставить его в ближайшую поликлинику; там следовало

объяснить ранение несчастной случайностью, например: выпил лишнего, пошел прогуляться, споткнулся, напоролся на сук. В заключение Язвицкий выкинул неожиданный фортель: он предложил свои услуги в качестве букинского секунданта.

Стреляться договорились в Сокольниках. Чуть в стороне от Оленьих прудов, по словам Сидоровой, было одно укромное место. Дуэль назначили на субботу, 30 октября.

Несколько дней, оставшихся до этого рокового числа, соперники, надо полагать, провели в неотступных думах о смерти и вообще находились в том неприятно-тревожном состоянии духа, которое мнительные люди испытывают в ожидании врачебного приговора. В последнюю ночь Завязатов, наверное, до рассвета ходил из угла в угол, ерошил волосы и поминутно проверял, не дрожат ли руки. А Букин, может быть, решил напоследок полистать дорогие книги и нечаянно задремал.

Утром 30 октября участники дуэли встретились на трамвайной остановке «Мазутный проезд». Пока шли до места, все тяжело молчали, и только Язвицкий ни к селу ни к городу начал рассказ о том, что в этих местах когда-то купался Пушкин; впрочем, через минуту он опомнился и замолк.

Уже вторую неделю как выпал снег. Он стал было таять, но неожиданно ударили холода, и зазимок лег искрящейся стеклянной коркой, которая весело похрустывала под ногами. Еще во многих местах на деревьях зеленела листва, и снег, который кое-где прилепился к кронам, производил неприятное впечатление.

Шли минут двадцать. Букин заметно побаивался, но Завязатову, тащившему бутылку водки, луки, завернутые в газету, опасность была, кажется, нипочем. Более того: он с таким зловещим спокойствием озирался по сторонам, что казалось, он сейчас непременно выкинет что-нибудь безобразное.

Поляна, о которой рассказывала Сидорова, на самом деле оказалась местом уединенным. Вокруг недвижно стояли сосны, о которых Букин подумал, что в них есть что-то вечное, самодовлеющее, как в жизни вообще, относительно смерти в частности.

Придя на место, все, кроме Язвицкого, закурили. Язвицкий тем временем с судейской аккуратностью осмотрел луки и четыре стрелы, накопнички которых он самолично наточил до содрогаящей остроты. Потом он отмерил двадцать пять метров между барьерами, расставил противников по местам и, немного помедлив, дал им сигнал сходитьсь.

Стрелялись одиннадцать раз, так как ни Завязатов, ни Букин никогда прежде лука в руках не держали и никак не могли попасть. На одиннадцатый раз стрела, выпущенная Букиным, угодила Завязатову в глаз, то есть случилось худшее из того, что только могло случиться. Впрочем, стрела застряла в глазном яблоке и внутрь черепа не проникла. Завязатов даже не потерял сознания, хотя из-под стрелы на снег, перемешанный с зелеными и желтыми листьями, хлынул неправдоподобно бурный

фонтанчик крови. Стрелу извлекли, и Сидорова стала лить прямо на то место, где у Завязтова только-только был глаз, перекись водорода; на ране зашипела очень большая, пузырящаяся, розовая гвоздика, и кровь постепенно остановилась. После этого Завязтов минут десять не мог отдышаться, а когда отдышался, то первым делом попросил водки. Ему налили два стакана подряд; третий налили Букину, с которым случилась истерика.

Однако то, что случилось на самом деле, было до такой степени отвратительным и ужасным, что написать об этом в рассказе было положительно невозможно. Кроме того, действительность противоречила бальмонтовской идее, и я придумал другой конец. Придя на место, дуэлянтам показалось холодно стреляться, и Букин от страха предложил понемногу выпить. Предложение было принято. Выпили по одной — показалось мало, выпили по другой — показалось мало, потом, конечно, послали Сидорову в магазин за добавком, короче говоря, как водится, напились. После этого стали выяснять отношения. Во-первых, сошлись на том, что затея с дуэлью, конечно, глупость, во-вторых, стали прикидывать, как это они дошли до такого умопомрачения, и, наконец, каждый из присутствующих на дуэли высказал собственный взгляд на вещи. Посредством этих оправдательных монологов я и наметил дать прозаическое толкование бальмонтовских строчек насчет того, что мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить.

Итак, дело у меня венчалось нетрезвым, но поучительным разговором. Сидорова пускай говорит, что, по ее мнению, человечество существует главным образом для того, чтобы тиранить самых совершенных представителей своего вида, то есть гениев. Пускай она укажет на пример Циолковского или Торквато Тассо, чью суммарную полезность можно приравнять к суммарной полезности двух человеческих поколений, и при этом добавит, что это большое счастье — встретить на жизненном пути такого гения, как Завязтов, с которого прямо нужно сдувать пылинки.

Затем вступит Букин. Он будет говорить о том, что в конце концов все сделаются неврастениками, если не научатся себя самым решительным образом защищать. Букин будет горячо обличать людей, которые легко и много прощают и в лучшем случае способны ответить на оскорбление оскорблением, потому что это ведет к отмиранию личности. Что же касается гениев, скажет он, то гении они или нет, это еще вилами на воде писано. Когда дело дойдет до Язвицкого, он станет оправдывать свое умопомрачение тем, что теперешняя жизнь лишена остроты и однообразна, как гудение комаров; что временами непереносимо хочется чего-нибудь из ряда вон выходящего, уксуса с перцем, чтобы всего ознобом пробрало, иначе можно помутиться в рассудке, иначе можно подумать, что жизнь прожита впустую. Наконец, Завязтов объявит, что отечественная наука и техника — это святое дело и ради их торжества он готов стреляться хоть ежедневно.

В самом конце рассказа я приписал фразу насчет того, что все разошлись по домам довольные и хмельные, вздохнул и поставил точку. Затем я перечитал написанное и даже перепугался, до чего получилось умышленно, хорошо.

— Ну, — закричал я жене, которая в это время делала что-то на кухне, — если это не самое сильное из того, что существует в теперешней литературе, то я вообще ничего не смыслю. Слышишь? Когда Л. прочитает этот рассказ, он покончит жизнь самоубийством. Он скажет, что со мною невозможно быть современником.

— Господи, — ответила из кухни жена, — когда все это кончится?.. Ну что ты будешь делать, скажи на милость!..

ТРАГЕДИЯ СОБСТВЕННОСТИ

Прудон утверждал, что собственность есть кража, и был, безусловно, прав. Он был прав именно безусловно, потому что его утверждение справедливо даже в тех случаях, когда собственность не есть результат собственно воровства, например, когда собственность есть результат того, что вы зарабатываете слишком много, ибо денег в стране все-таки ограниченное количество и если вы зарабатываете слишком много, то кто-то зарабатывает слишком мало, а это очень похоже на воровство. Впрочем, изложенная идея не столько идея, как каламбур. В действительности дело обстоит следующим образом: всякое благосостояние, слагающееся, например, из того, что читают, на чем сидят и едят, посредством чего прикрывают тело, когда это благосостояние соразмерно той пользе, которая вытекает из вашего общественного бытия, — это законно, это подай сюда. Но все остальное — кража чистой воды, даже если она комароносанеподточительна. Эта оговорка, кстати сказать, круто принципиальна, так как в последнее время у нас распространилась та обманчивая идея, что если человек занимается воровством, за которое его почти невозможно упечь в тюрьму, то это не воровство. Такая позиция, конечно же, требует разоблачения, но разоблачения не на уровне «красть нехорошо» и не на уровне «красть нехорошо, как бы это ни было безопасно», и даже не на уровне «сколько веревочке не виться», а такого разоблачения, которое бесповоротно убедило бы и первого умника, и последнего дурака: красть невыгодно и глупо, разумнее и выгоднее не красть. Во всяком случае, разумнее и выгоднее в наших условиях, в географических пределах СССР, где из-за некоторых особенностей жизни и национального характера несоразмерная собственность — это трагедия, рок, обуза. Вспомним хотя бы Акакия Акакиевича, который худо-бедно жил без новой шинели, а приобрел новую шинель — и погиб.

Разумеется, классическому вору ничего не докажешь, поскольку книг оно не читает, поскольку у нас издревле так повелось: или человек читает, или уж он крадет; но тот, кто ворует, наивно полагая, что он наживается, а не ворует, нет-нет да и возьмет книжку в руки — это известно точно.

Так вот же им доказательство того, что в наших условиях разумнее и выгоднее не красть...

В Москве, в большом доме у Никитских ворот, живет относительно молодой человек по фамилии Спиридонов. Он работает приемщиком на пункте по сбору вторичных ресурсов. В романтические пятидесятые годы, когда еще стеснялись таких профессий и когда вторичные ресурсы назывались утильсырьем, должность приемщика едва обеспечивала существование, но в деловые восьмидесятые годы Спиридонов извлекает из нее баснословные барыши. Как он это делает... Во-первых, он продает пуговицы; во-вторых, он занимается оптовой торговлей мужскими костюмами, пришедшими в относительную негодность, которые нарахват берут частники, шьющие из них кепки; в-третьих, он наживается на книгах, сдаваемых под видом макулатуры; в-четвертых, он нанимает женщину, которая распускает ему шерстяные вещи, и отдельно торгует шерстью... ну, и так далее. В общем, самостоятельных прибыльных статей у Спиридонова так много, что есть даже в-одиннадцатых и в-двенадцатых. Но это как раз не самое примечательное, самое примечательное как раз то, что с точки зрения уголовного права эти статьи комароноса-неподоточительны, и Спиридонова практически невозможно упечь в тюрьму.

Результаты его плутовской деятельности, что называется, налицо: у него дача, фарфоровые зубы, автомобиль, красавица жена и яхта, которую он держит под Ярославлем. До самого последнего времени в его квартиру было страшно войти: прихожая обита шагреновой кожей, в гостиной одна стена зеркальная, другая тоже зеркальная, а третья заклеена громадным видом императорского дворца в Киото, спальня отделана кремовым шелком, ванная — дубом, туалет — фальшивыми долларами, кухня оборудована под скиперский кабачок.

К настоящему времени у Спиридонова в целости-сохранности только фарфоровые зубы и яхта под Ярославлем, все остальное в той или иной степени пошло прахом. И вот что интересно: это не первый крах в истории спиридоновского рода. Спиридонов-прадед, владевший галантерейной фабрикой, лишился всего в результате Великой Октябрьской социалистической революции и до самой смерти торговал папиросами в Охотном ряду. Спиридонов-дед начал сызнова строить родовое благосостояние и, надо сказать, начал довольно оригинально: он собирал дань. В 1926 году, когда Спиридонов-дед работал объездчиком в Забайкалье, в двухстах километрах за станцией Борзя, он как-то наткнулся на многочисленный род эвенков, которые оказались до того добродушны и беззащитны, что нельзя было их как-нибудь не надуть: Спиридонов-дед про-

возгласил себя комиссаром Забайкальского улуса и повелел платить дань. Три года спустя обман был раскрыт, и липовый комиссар срочно бежал в Россию. На станции Муром Владимирской области у него украли баул с деньгами, которые он выжулил у звенков, — этого удара он не перенес и умер от нервного потрясения в Муроме же, в больнице. Таким образом, Спиридонову-отцу тоже пришлось начинать с нуля. Начиная он так: выкопал собственный водоем и заселил его мальком зеркального карпа. Два года спустя, когда карп достиг товарного веса, Спиридонов-отец выручил десять тысяч рублей, на третий год целых пятнадцать тысяч, но на четвертый год окрестные поля удобрили каким-то губительным химикатом, и карп немедленно передох. После этого Спиридонов-отец так крепко запил, что не оставил сыну практически ничего, если не считать тысячи рублей, которые он подарил ему после окончания средней школы. На эти-то деньги последний Спиридонов и купил себе должность приемщика на пункте по сбору вторичных ресурсов, которая позволяет ему извлекать баснословные барыши.

Теперь вот какой неожиданный поворот. В том же самом доме, даже в том же самом подъезде, но только двумя этажами выше, живет еще один относительно молодой человек, специалист по автоматическим системам управления, некто Бурундуков. Этот Бурундуков издавна недолюбливал Спиридонова, имея на то серьезные, но несколько путанные причины. Первая причина: Бурундукову претило несоразмерное спиридоновское благосостояние, что, в общем, можно понять, так как нормальный советский интеллигент — это существо благодетное, отчасти даже поэтическое, во всяком случае, подозрительно косящееся на все, что выходит из рамок двухсот пятидесяти рублей. Вторая причина: он терпеть не мог походки скрывающейся знаменитости, которой отличался последний Спиридонов, и обычного выражения его лица, на котором, кажется, было написано: «Придурки, учитеесь жить!» Третья причина: Спиридонов был все-таки хамоват. Наконец, причина четвертая и последняя: Бурундуков питал симпатию к спиридоновской жене, и даже немного больше. Это обстоятельство потому нельзя упустить из виду, что всякий раз, когда Бурундуков случайно встречал спиридоновскую жену, она неизменно говорила ему глазами: может быть, ты и ничего мужика, но по большому счету ты не мужик. Это доводило Бурундукова до иступления: его глубоко оскорбляла мысль, что жулик, добывающий полторы тысячи рублей в месяц, — это мужик, которого обожают и, возможно, даже боготворят, а он, отличный специалист по автоматическим системам управления, — не мужик, так как он не умеет ловчить, не имеет нюха на то, что плохо лежит, и в результате располагает только тем, что читают, на чем сидят и едят, посредством чего прикрывают тело, если, правда, не считать кое-каких цивилизующих мелочей вроде телевизора «Старт», показывающего почему-то только учебную программу, и велосипеда «Харьков», у которого к тому же то и дело отказывают тормоза. В конце концов эти мысли привели Бурундукова к одному не-

ожиданному и не совсем оправданному поступку: в горькую минуту он спиридоновскую жену немного поприжал в лифте.

Когда жена пожаловалась Спиридонову на придурка с четвертого этажа, тот, недолго думая, выпил стакан коньяку, взял отвертку, вызвал лифт и поехал мстить. Он звонил в квартиру к Бурундукову и думал: «Пусть меня посадят, но я его замочу!»

Бурундуков вышел к нему в спортивных штанах с лампасами и в вязаной женской кофте.

— Здравствуй, сука! — сказал Спиридонов. — Сейчас я буду тебя мочить!

— Проходите, — отозвался Бурундуков, и это отрешенное «проходите» действовало на Спиридонова некоторым образом расслабляюще, так что у него почти пропала охота мстить. Он даже сделал усилие, чтобы не дать сползти с лица свирепому выражению, и вошел.

— Дома, как нарочно, никого нет, — добавил Бурундуков, — можете начинать.

— Что начинать-то? — спросил его Спиридонов, и свирепое выражение его лица все-таки сменилось на просто сердитое, бытовое.

— Как что?! Вы же пришили меня это... уж не знаю, как по-вашему, короче говоря, убивать. Ну и убивайте! Классовая борьба — это кровь.

— Какая еще классовая борьба? Что вы там плетете? — сказал Спиридонов, перейдя на настороженное «вы».

— Самая настоящая классовая борьба! По одну сторону баррикад — работники, то есть мы, а по другую — жулики, то есть вы. И пускай вы меня сейчас убьете, все равно мы рано или поздно раздавим вашу «пятую колонну», которая методически подтачивает основы социализма!

— Знаете что, — сказал Спиридонов, — вы тут кончайте демагогию разводить! Ну, какой я, к чертовой матери, классовый враг?! Я деловой человек, вот я кто! Если бы таких людей, как я, назначали на ответственные посты, то через десять лет Америка боролась бы за экономическое сотрудничество с Востоком.

— Ну, это дудки! — сказал Бурундуков. — Деловые люди — это кто дело делает, а вы — деньги. По-настоящему, вы все душевнобольные, вот вы кто!

— Это почему же мы душевнобольные? — с обидой в голосе спросил Спиридонов и присел на стул.

— Например, потому, что вы время от времени садитесь в тюрьму из-за денег. Ведь это же курам на смех — сесть в тюрьму из-за денег, как вы не понимаете! Или вот еще что: вы все уверены, что умеете жить, а между тем вы представления не имеете о том, что значит жить! Вы как младенцы, у которых мир ограничен пределами песочницы и коляски, в то время как этот мир измеряется даже не двором, даже не улицей, даже не городом и даже не страной...

Спиридонов вытащил из кармана носовой платок, высморкался и сказал:

— Это идеализм и полный отрыв от жизни. Философия, одним словом, как говорится, без пол-литры не разберешься. Кстати, не найдется ли у вас пол-литры?

— Не пью,— буркнул Бурундуков и sluкавил: на самом деле он попивал.

Спиридонову стало немного не по себе.

— Слушай, может быть, перейдем на «ты»?— предложил он из опасения, что дело принимает нежелательный оборот.— Тебя как зовут-то, блаженный ты человек?

— Павел,— ответил Бурундуков.

— А меня Серега.

Бурундуков с минуту пристально смотрел на Спиридонова, как если бы он намеревался его окончательно раскусить, а потом пошел в кухню, из которой он неожиданно принес початую бутылку водки и жареной картошки сковороду.

— Подогреть или так срубаем?— спросил он, показывая картошку.

— Так срубаем,— ответил Спиридонов, махнув рукой.

Когда выпили по второму стакану и немного потыкали вилками в сковороду, Бурундуков накуксился и сказал:

— Жалко мне тебя, Серега, до слез жалко, потому что профуфыкал ты бесценный дар жизни!

— Ну, это еще бабушка надвое сказала,— возразил Спиридонов.

— Нет, Серега, это определено. У нормальных людей деньги всегда были чем угодно, но только не всем. Средством накопления, средством платежа, мировыми деньгами — только не всем. Так что погубил ты себя, Серега, без ножа зарезал и заживо закопал!

— Нет, это ты зря.

— Что зря? Я вас не понимаю...

— Мы на «ты».

— Я тебя не понимаю. Что зря?

— Да все! Может быть, ты только потому на меня критику наводишь, что у тебя денег нет.

— Поклеп!..— с чувством произнес Бурундуков, поматывая головой.— Если бы у меня были деньги, то знаешь, что бы я с ними сделал. Я бы купил грузовик конфет! Встал бы где-нибудь на перекрестке и раздавал москвичам конфеты за просто так. Писатель Ильф об этом очень мечтал.

— Ты думаешь, я так не могу?— сказал Спиридонов.

— Конечно, не можешь, потому что ты жулик и крохобор!

— А вот и могу!

— Нет, не можешь!

— А я тебе сейчас докажу, что могу. Ты думаешь, что барахло для меня все? что у меня за пазухой не русская душа?..

— Бумажник у тебя за пазухой, а не душа!
— Нет уж, это извини-подвинься! Давай поспорим на штуку, что я смогу?

— Штука — это что?
— Тысяча рублей.
— Ну, подумай своей головой: откуда у меня тысяча рублей?
— Действительно... Ну ладно, я и без тысячи докажу. Есть у тебя ломик?

Бурундуков подумал и сказал:

— Ломика нет.
— А палка покрепче есть?
— И палки нет. Но можно снять вот этот карниз. — И Бурундуков указал головой в сторону карниза, на котором висели шторы.

Спиридонов внимательно посмотрел на карниз, вытащил отвертку и начал его снимать. Когда дело было сделано, они положили карниз на плечи и стали спускаться по лестнице с четвертого этажа. Ходу было максимум полминуты, но так как карниз то и дело заклинивало в пролетах, тащились они минимум полчаса. Во дворе Спиридонов отобрал у Бурундукова карниз, подошел к своей «Ниве», занес карниз над капотом так, как заносят цеп, и ехидно проговорил:

— Значит, не могу?

— Не можешь, — подтвердил Бурундуков.

Карниз обрушился на капот, сильно помяв его примерно посередине.

— Значит, не могу? — повторил Спиридонов и, не дожидаясь ответа, обрушил карниз на лобовое стекло...

Он корежил автомобиль еще минут десять, пока Бурундуков ему не сказал:

— Ну, хорош, Серега, я тебе верю. Теперь пойдем мою квартиру громить, а то это будет несправедливо.

— А чего ее громить? — возразил Спиридонов. — Она у тебя и так хижина дяди Тома. Пойдем лучше мою громить, там для меня работы — ну, непочатый край!..

— Нет, твою квартиру нельзя, баба обидится.

— Она у меня вот где! — сказал Спиридонов, показывая кулак.

— В таком случае я не против.

Они обнялись и с песней пошли громить спиридоновскую квартиру...

ТАМБОВСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Заведующий литературной частью одного из московских театров Сергей Сергеевич Астраханский опоздал к началу сезона. Вместо положенных двадцати четырех суток он нагулял целый месяц и ожидал наго-

няя. В театр он явился в тяжелый день, в день профсоюзного собрания, которое по традиции следовало ровно через неделю после первого сбора труппы. Он и его хотел прогулять, но побоялся.

Ну, эти профсоюзные собрания! Раз в год под театральными сводами стрясаются такие скандалы, такие затеиваются склоки и распатронивания в пух и прах, что потом они долго-долго припоминаются и очень оживляют театральную жизнь. Все начиналось обязательно с чепухи, с какого-нибудь безобидного замечания вроде того, что молодых актеров следовало бы во всех отношениях догрузить. Тогда вскакивал кто-то из молодых и принимался на всех наводить нелицеприятную критику, не щадя ни правых, ни виноватых, ни руководство, ни мелкую театральную сошку, — тут-то и начинал вырисовываться скандал. На этих собраниях только что не дрались, а так доходило до обмороков, до угроз, до несмываемых оскорблений, что, впрочем, представляется законным среди людей, которые работают с исключительными страстями. На все это бывало страшно смотреть. Даже амуры, которыми были расписаны потолки, кажется, изменялись в лице, кажется, в лицах у них появлялось испуганное, вытянутое выражение, очень характерное для детей, когда в их присутствии ссорятся взрослые.

Надо сказать, что это был пятьдесят третий сезон и, стало быть, несчастливым, так так по старой местной традиции отличать счастливые сезоны от несчастливых он не делился на три. Следовало ждать особенных, каких-нибудь диковинных неприятностей, и поэтому Сергей Сергеевич Астраханский явился в театр с тяжелым выражением на лице, которое намекало на внутреннюю деятельность, вызванную либо несчастьем, либо какой-то тайной. Впрочем, это был неудачный ход, поскольку всякий в театре знал, что Астраханский брюзга и достаточно наступить ему на ботинок, чтобы сделать его несчастным и повергнуть в то душевное состояние, когда хочется все на свете не одобрять.

На этот раз склока произошла вот по какому поводу: для премьеры не было театральных костюмов.

— Если хорошо отыграем премьеру, то отдел культуры обещает выделить необходимые средства, — сказал директор театра, бывший актер, сказал и смешался.

С этого все началось.

— Вы соображаете, что вы говорите?! — закричал заведующий постановочной частью.

— Он сумасшедший, его надо изолировать! — подхватил актер Алексей Попович, а одно новое дарование, недавно наделавшее много шуму в газетах, принялось истерически хохотать, впрочем, сохраняя на лице несмешющееся, грустное выражение. В общем, галдели около получаса, и, когда дело уже дошло до угроз, когда к директорскому сердцу подкрался обморок, все вдруг смолкло. Это вышло настораживающее, как бывает, когда небо обложат тучи, подует ветер, в воздухе появится

что-то гнетущее, предвещающее беду — и вдруг все стихнет. Стало скучно, как-то нехорошо. И тут Астраханский, что называется на свою голову, вставил слово. Он сказал:

— В конце концов костюм — это не главный ингредиент...

— А-а! Товарищ Астраханский! — воскликнул директор театра, как бы ликуя. — Вспомнили нас, зашли, как говорится, на огонек... — Но вдруг он побледнел и сказал тихо-тихо: — Соболаговолите объяснить коллективу мотивы вашего безответственного поведения...

Вообще народ в этом театре был из интеллигентных семей и выражался витиевато.

Астраханский встал и подошел к столу, накрытому старой кулисой, за которым сидели члены местного комитета. Он оперся о край стола, выпрямился и замолчал. Он молчал две минуты, что было замечено по часам, и за это время его глаза успели выразить много различных переживаний: тут был некоторый испуг, томление, нерешительность, но потом в них мелькнула искра, и они как-то окаменели. После этого Астраханский заговорил. Перед выдавшим всякие виды актерским людом вдруг стала разворачиваться такая удивительная, неслыханная история, в какую нормальный человек не поверит ни за какие благополучия, разве что присягнешь ему на здоровье близких. Понятное дело, все были ошеломлены, даже у амуров на потолке появились тонкие, слушающие выражения.

Пролог у этой истории был таков: оказалось, что отпуск Астраханский провел в деревне Уклейка. Это в Тамбовской области, известной девственными лесами, антоновским мятежом и теми самыми серыми обитателями, о которых в пятидесятых годах так любили упоминать следователи и милиционеры. В последний день отпуска Астраханский отправился по грибы.

День был чудесный; в августе бывают такие дни, не прохладные и не жаркие, не солнечные и не пасмурные, а какие-то черт их знает какие, какие-то такие, от которых ожидаешь чего-нибудь необыкновенного, вроде второго пришествия.

Около часа Астраханский ехал на попутном грузовике, который завез его на дальнюю засеку — тут начинался дремучий лес. В лесу было сумеречно и тихо, все задумалось, размечталось, и Астраханский был положительно околдован. На него напало умильное чувство, от которого тянет петь; Астраханский запел, но испугался своего голоса. Он долго шел, совершенно позабыв о грибах и заботясь только о том, чтобы ненароком не расплескать это прелестное чувство. И вдруг он подумал, что заблудился. Он остановился, осмотрелся по сторонам и увидел много такого, что укрепило его подозрение. Насколько хватало глаз, кругом растлился мох, который хлюпал, сочился жижей и источал какой-то изысканный, доисторический аромат. Деревья, редко торчавшие из мха, производили какое-то трупное впечатление, небо казалось низким, как

будто повисло на еловых верхушках, как на шестах, вообще пейзаж был неприятен, а пожалуй, даже и жутковат.

Оглядевшись, Астраханский приблизительно определил обратное направление и пошел назад, но, сколько времени он ни шел, лес не открывал ему обратного хода, и хотя до настоящего страха было еще далеко, но на душе легла тень. Уже к вечеру, когда стало смеркаться и в лесу сделалось так темно, что на него напало ощущение слепоты, он выбился из последних сил, сел на мох и заплакал. (В этом месте Астраханский примолк и развел руками — дескать, что уж тут лицemerить, всякое случается в жизни, бывает, что и всплакнешь.)

Итак, он сел на мох и заплакал. Он явственно видел будущее, которого насчитал максимум десять суток. Дней пять он еще будет идти, потом поползет, и, когда его совершенно оставят силы, он устроится возле брусники и будет ждать смерти от истощения. Вскоре придет сонливость, перед внутренним взором побежит его жизнь, потом опустится темнота, и примерно на десять сутки он будет мертв. Тогда к месту действия прищлепают обитатели...

Астраханскому так картинно увиделось его тело, пожираемое обитателем, что он даже перестал плакать. Он вперился в темноту и долго сидел, изредка всхлипывая и вздыхая. Потом он заснул и спал тем неприятным сном, о котором не скажешь точно: спишь ты или не спишь. Ему снился волк в швейцарской фуражке. Волк поднимал фуражку за козырек и говорил голосом главного режиссера: «Это абсурд. При данном состоянии репертуара ни один дурак не даст вам высшую ставку».

(При этих словах Сергей Сергеевич Астраханский скопил глаза на главного режиссера. Главный режиссер кашлянул и тоже на него посмотрел.)

Под утро стал накрапывать дождь. Он проснулся от нескольких капель, которые попали за воротник, вспомнил свою беду и чуть было снова не прослезился, а в этот он увидел, что находится вовсе не в дебрях леса, как полагал, а в светлой кленовой роще, на самой ее опушке, которая выходила в маленькую долину. Эту долину пересекала река, поросшая камышами, и на ее берегу, километрах в двух, стояла деревня приблизительно в полсотни дворов. Хотя это была не Уклейка, он очень обрадовался человеческому жилью, которого он уже не чаял увидеть. Он встал и, поеживаясь от промокнувшего пиджака, пошел, держа направление на деревню. Все, что он увидел в дальнейшем и что с ним случилось, представляет собой такую поразительную историю, что, по признанию самого Астраханского, первое время он не мог быть совсем уверен, что это был не кошмарный сон или не временное помешательство.

Деревня, в которую он вскоре вступил, удивила его невиданной бедностью, фактически нищетой. Избы, более похожие на землянки, все были ветхие, кособокие, крытые соломой, и казалось, что они гниют и рассыпаются на глазах. Возле четвертой избы ему попался голый ребенок, сидевший в луже и бивший по ней ладошками, потом ему встрети-

лась женщина в латаном сарафане; увидев его, она вскрикнула и исчезла.

Астраханскому стало не по себе; впрочем, в ту же минуту, как ему стало не по себе, случилось событие, окончательно сбившее его с толку: он был схвачен и посажен под замок какими-то бородатыми мужиками.

— Все-таки есть справедливость на белом свете! — крикнул с места актер Алексей Попович, и по рядам пробежал порыв смешков и язвительных восклицаний. Сергей Сергеевич пропустил эту колкость мимо ушей. Он продолжал...

Его заключили в большой сарай. Не успел он призадуматься над тем, что, собственно, произошло и что ожидает его впереди, то есть к чему вообще отнести случившееся, как его посетили два мужика, которые уселись на табуреты и принялись молча его разглядывать. Спустя некоторое время они стали задавать вопросы. Они интересовались неожиданными вещами: золотым содержанием десятирублевого банковского билета, ценами на пшеницу, состоянием нравственности, они также спрашивали, жив ли Шалапин и какова численность Красной Армии. Касательно численности Красной Армии Астраханский отвечать отказался.

Когда за отказ отвечать на этот вопрос не последовало никаких осложнений, Астраханский набрался духу и спросил сам:

— Товарищи, вы можете объяснить, что здесь происходит?

На лицах у посетителей вдруг появились одинаковые конфиденциальные выражения. Они покашливали в кулаки и все выложили начистоту.

Вот суть дела. В двадцать первом году, после разгрома кулацкой армии атамана Антонова, несколько десятков повстанцев, которые не откликнулись на амнистию, ушли со своими семьями и скотиной в глухие леса. Вероятно, со временем их колония как-нибудь да распалась, если бы вскоре к ним не забрел один полоумный старец. Он пришел и провозгласил конец света. По его словам, человечество поразил поголовный мор и планета пришла в полное запустение, что в свете событий последних лет казалось заслуживающим доверия. В доказательство своих слов полоумный старец скончался, и население лесной колонии укоренилось в той мысли, что они единственные и последние люди на всей земле и, таким образом, на них свалилась ответственность за сохранение жизни и всевозможных общественных форм, как это уже было однажды в потопные времена. Деревню называли Новый Ковчег. Избрали царя, положив начало четвертой русской династии: царем был избран бывший председатель комбеда Прохор Иванович Толкунов, который вззошел на престол под именем Прохора I. Царь назначил правительство, учредил полицию и издал десять законов. Сначала все шло хорошо, государственно, но потом, уже при сыне Прохора I, Иване Прохоровиче, в Новый Ковчег забрел еще один человек, как выяснилось, уголовник, бывший в бегах, и он на допросах такого порассказал, что правительство за

головы схватилось. Во избежание слухов и подозрений уголовнику назначили смерть, и, когда казнь была потихоньку приведена в исполнение, на теле казненного нашли страшное доказательство его правды, а именно: изображение танка Т-34, татуированное на груди.

— Вас к нам бог послал, честное слово! — заключил рассказ один из мужиков, посетивших Сергея Сергеевича Астраханского, чем его не по-хорошему удивил. — Понимаете, какое дело, народ невозможно разбаловался. Потом эти... большие... над головами летают. Уж мы народую и то и се — сомневаются, сукины дети, можно сказать — не верят!

— Не понимаю, чем же я могу быть полезен? — молвил Астраханский и натянуто улыбнулся.

— Очень можете быть полезны! — последовало в ответ. — Мы вас выдادم за архангела Гавриила...

И перед Астраханским во всех подробностях развернули план, поразивший его нелепостью и той простотой, которая при сказочном добродушии русского человека почти всегда обеспечивает успех. Коротко говоря, этот план заключался в том, что Астраханский должен будет выступать перед народом с одобрением монархии и деятельности правительства по поддержанию жизни и сохранению всевозможных общественных форм и, кроме того, как-нибудь между прочим, но со всей строгостью припугнет, де ежели что не так, то и населению Нового Ковчега он может протрубить в свою страшную, окончательную трубу. Судный день назначили на субботу.

Двое суток Астраханский безвылазно просидел в сарае, в котором был заключен, и развлекал себя тем, что смотрел на волю сквозь щель.

— Можно сказать, насмотрелся я, товарищи, на капитализм с пережитками абсолютной монархии, — рассказывал он профсоюзному собранию и грустно покачивал головой, — это слов нет, чтобы дать ему исчерпывающую характеристику. Все пороки эксплуататорского общества, так сказать, в законсервированном виде предстали передо мной во всей своей омерзительной наготе. Народ доведен до крайней степени нравственного падения, кажется, только он и делает, что ворует, матерщиничает и дерется. А какие жлобы, товарищи, какие крохоборы! Это просто какие-то иностранцы! Я потом целую неделю сигарету стеснялся стрельнуть, вот до чего они меня довели!

Ну, ладно, пришла суббота. Действительно, на площадь нагнали народу, тут и правительство, и два моих мужика — словом, вся их сволочь. Выводят меня. Представьте: я являюсь босой, в балахоне, волосы на прямой пробор. Все на меня глядят, и я чувствую по глазам, что верят. «Ну козлы, ну козлы! — думаю про себя. — Ничего, сейчас я вам раскрою глаза на международную обстановку. На плаху пойду, а свой, так сказать, исторический долг исполню».

Наступает мертвая тишина. Я выдерживаю паузу, поднимаю руку и говорю:

— Товарищи! — говорю. — Хотите верьте, хотите нет, а в каких-нибудь ста километрах отсюда идет нормальная светлая жизнь. Успешно решается жилищный вопрос, от Москвы до Владивостока можно долететь за несколько часов, на сто семей уже приходится шестнадцать автомобилей, одним словом, народ добивается, чтобы жизнь в нашей стране была еще содержательнее и краше. Хотя, честно скажу, глядя на вас, кажется, что уже некуда содержательнее и краше. Хотите верьте, хотите нет, а у вас царь так не одевается, как мы одеваемся, «гавану» курим и за честь не считаем, старики пенсию получают, вежливые все, как швейцары, я уже не говорю о всеобщем среднем образовании... А что на сегодняшний день имеете вы? Частную собственность, эксплуатацию человеческого труда, то есть форменный сумасшедший дом! Спрашивается: где ваше чувство собственного достоинства и почему вы терпите этих дураков? В шею их, товарищи, долой угнетателей трудового народа!»

Дойдя до этого места, Астраханский поперхнулся и замолчал. Стало так тихо, что было слышно, как рассыхается мебель. Директор театра проглотил слюну и сказал:

— Дальше-то что?

— А что дальше, — рассеянно сказал Астраханский, — дальше разумеется, революция...

Новое дарование снова разразилось истерическим смехом, но на него посмотрели так, что оно тут же спохватилось и замолчало.

— ...Самая натуральная революция, — продолжал Астраханский. — Царь и правительство получили по шапке, их потом в милицию сдали. В настоящий отрезок времени там организуется колхоз, называется «Новый Ковчег», если я, конечно, не ошибаюсь...

Минут через пять, когда собрание успокоилось и все стали понемногу приходить в себя, искоса поглядывая на Астраханского, перешли к следующему вопросу: новое дарование вступало во Всероссийское театральное общество и нуждалось в рекомендации.

— Не знаю, не знаю... — сказал Астраханский, — если вы помните, коллега в прошлом сезоне не явился на ответственную премьеру и еще прогулял прогон.

— У меня была уважительная причина! — воскликнуло новое дарование и повторило прошлогодний рассказ о том, как накануне премьеры в подъезд его дома каким-то образом зашел лось и не было никакой возможности выйти, чтобы попасть в театр.

Астраханский слушал, иногда пожимал плечами, а потом демонстративно покинул зал и пошел в буфет. В буфете он пил портвейн, который специально для него держали в нескороаемом шкафу вместе с вилочкой и важными бланками; он куксился и говорил буфетчице, толстой даме:

— Умирает театр, агонизирует. Драматургии нет, режиссеров нет,

средства не отпускаются. Вот скажите: по собственной воле вы пойдете на наш спектакль?

Буфетчица отрицательно помотала головой.

— И я не пойду!..

ПРИКЛАДНАЯ ДЕМОНОЛОГИЯ

Один относительно молодой литератор, некто Охапкин, пошел на поводу у времени и купил в Осташковском районе Калининской области полуразвалившуюся избу. Изба была из рук вон худая, с ободранной крышей, сгнившим крылечком и разобранными полами. Охапкин дал ей кое-какой ремонт и летом 1983 года перевез сюда жену с семилетней дочкой, годовалого пойнтера, названного по имени главного охапкинского врага, критика Спиридонского, — Спиридонским, и поэта Бугаева, с которым его связывал тот род профессионально-дружеских отношений, какой у нас называется рука руку моет.

Охапкинское приобретение находилось в местах труднодоступных, малонаселенных, словом, довольно-таки глухих. От Осташкова нужно было еще целых два часа ехать автобусом, а затем долго идти лесами, полями и прочими обстоятельствами среднерусского пейзажа. Обитаемых деревень на этом пути не было ни одной, зато заброшенные встречались довольно часто. Их вид производил на свежего человека тот восторженно-грозный ужас, с каким впервые читается пушкинский «Пир во время чумы». Как раз посредине одной из таких деревень и стояло охапкинское приобретение, расположившись прямо напротив бело-снежных руин деревенской церкви, которые были испещрены скабресными существительными и эмблемами «Спартака».

Как это ни глупо, но с легкой руки Охапкина деревенская жизнь была сразу же подчинена жесткому распорядку. С утра пили чай, потом сама собой затевалась беседа, которую охапкинская жена называла «филологическое ля-ля», потом шли купаться на речку, потом обедали, потом спали, потом опять пили чай и в заключение допоздна разводили пресловутое «филологическое ля-ля». Этот распорядок был отчасти нарушен только однажды: в последних числах августа Охапкин после утреннего чая отправился по грибы.

Примерно через два часа беспорядочного хождения в каком-то особенно дремучем уголке здешнего леса, который начинался сразу за балочкой, поросшей папоротником и осокой, Охапкин присел передохнуть на упавший ствол. Он сидел, размышляя о стилистическом значении отточия, как вдруг кто-то кашлянул у него за спиной. Охапкин вздрогнул и обернулся.

То, что он увидел, его основательно напугало. Метрах в двух позади него стоял голый мужик чрезвычайно высокого роста и, что называется, атлетического сложения, но с брюшком. Лицо у него было большое

и темное, руки жилистые, крюкастые, ноги мощные, как дорические колонны. Но самым примечательным в этом мужике было то, что его с головы до ног покрывал густой рыжеватый волос, который на ощупь, должно быть, производил эффект точильного колеса.

— Не извольте беспокоиться, — сказал голый мужик, приметив, что его появление Охупкина основательно напугало. — От меня вреда никакого. Я существо тихое, человеческое. Можно сказать, деликатное существо.

— Вы кто? — спросил Охупкин и поперхнулся.

— Я-то? — переспросил голый мужик и сделал паузу, в течение которой он дважды кашлял в кулак и один раз задумчиво смотрел вправо. — Вообще-то я леший. Это хотите верьте, хотите нет.

— Вы что-то темните, — сказал Охупкин. — Леших не бывает. Что за идеализм на лоне природы!..

— Бывает! — настойчиво сказал леший. — Просто они редко встречаются, их экология доконала.

— А я говорю, не бывает! — стоял на своем Охупкин.

— Экий вы Фома! — сказал леший. — Говорят вам, что я леший, значит, я леший! И нету тут никакого идеализма. Справка для тугодумов: лешие произошли от медведя и человека, как примерно мул от лошади и осла. Где же здесь, спрашивается, идеализм?! Знал бы, что вы такая Коробочка, ни за что бы не подошел!..

— Послушайте! — возмутился Охупкин. — А чего вы вообще ко мне пристааете?

— «Чего пристааете!..» — передразнил его леший. — Поговорить охота, вот и пристаю! Все-таки в лесу живем! С барсуком мне, положим, не о чем разговаривать.

Эти слова были сказаны лешим на довольно опасной ноте, и Охупкин зарекся ему перечить.

— Ну что же, давайте побеседуем, — сказал он. — Предлагайте тему.

— Вы, например, чем промышляете? — спросил леший.

— Вообще я литератор, — сказал Охупкин.

— Вот давайте о литераторах и поговорим. Вы кого из них больше всего обожаете?

Охупкин пожал плечами.

— А я Гоголя обожаю. По правде сказать, читать я ни по-писаному, ни по-печатному не умею, поскольку я все же воспитывался в лесу. Да, слава богу, в Новоселках живет отставной библиотечарь Иван Лукич, — он мне Гоголя и читает. Убедительный писатель! А с другим писателем я даже компанию водил, это, хотите верьте, хотите нет, Слепцов Василий Алексеевич — не слышали?

Охупкин призадумался и сказал:

— Нет, кажется, не слышал.

— Тоже убедительный писатель, хотя жила уже не та.

Леший печально вздохнул и огляделся по сторонам.

— Разные бывают писатели, это точно, — сказал Охупкин. — Некоторые пишут хорошо, но с грамматическими ошибками. Я считаю, что уж лучше писать без стилистических выкрутасов, но зато в абсолютном соответствии с техническими нормами русского языка. Где дефис, там дефис, где запятая, там запятая.

— Это я без понятия, — сказал леший.

— А то, знаете ли, слог у него гоголевский, образность тургеневская, психология Достоевская, идейность Толстая, а в слове «трансцендентальное» он делает две грамматические ошибки! Моя бы власть, я бы этих стилистов пересажал.

— Так-так, — согласился леший.

— Или, положим, ты десять лет разрабатываешь какую-нибудь идею, например, «влияние на интимную жизнь роботизации производства», а этот негодяй настроит за полчаса какую-нибудь фитильку, и ты весь в навозе, как умирающий Гераклит!

Леший подозрительно покачал головой.

— Наконец, с ними невозможно общаться!.. Он за всю жизнь два десятка рассказов только и написал, а гонору у него на полное собрание сочинений. Ходит церемониальным шагом, одет, как француз, в глазах меланхолия, а самому жрать нечего! На пиво и то рубль просит! У, нытики, очернители, паразиты — всех к чертовой матери картошку копать!

Охупкин в сердцах сплюнул, накуксился и замолк.

— Вот и поговорили, — после некоторой паузы сказал леший. — Душевно поговорили, на месяц хватит.

— В таком случае я пошел, — сообщил Охупкин.

— Путь-дорога! — сказал леший и отдал честь.

Вернувшись домой, Охупкин первым делом поведал поэту Бугаеву и жене о своей фантастической встрече с лешим. Бугаев поднял Охупкина на смех, но жена была, кажется, заинтригована.

— Вот это, я понимаю, мужик! — говорил Охупкин, выкатывая глаза. — Руки, как у нас ноги, ноги, как я прямо не знаю что. Племенной мужик. Соловей-разбойник!

В пятом часу всей компанией сели пить чай, и между мужчинами затеялось «филологическое ля-ля».

— Возможно, это и спорная точка зрения, — говорил Охупкин, — но мне очень близка такая трактовка понятия «художественная проза», когда под художественной прозой подразумевается не обсасывание какой-нибудь копеечной мыслишки, не постановка нового эстетического вопроса и не игра в красивые обороты, а поток сознания. Да, да! голый поток сознания, который идет навстречу читателю в чем мать родила! Все эти убогие дидактические умствования и беспардонная морализация в наше время ничто не способны оплодотворить. Сейчас надо писать так, как обычные люди дышат, слышат, видят, переживают. То есть: «Он проснулся и подумал о ней. На востоке поднималось апельсиновое солн-

це. Было слышно, как буровики лязгают сковородами». И так далее, и таким манером до самой финальной точки...

— Ну, не знаю! — встревал Бугаев. — У тебя все эстетика, дидактика, морализация, а по-моему, все очень просто: хочется писать — пиши, не хочется — не пиши. Пей пиво.

На этом месте в разговор вступила охапкинская жена.

— Послушай, — сказала она супругу, — а где именно ты его встретил?

— Ты про кого говоришь? — тупо спросил Охапкин.

— Про лешего, — сказала ему жена.

Охапкин объяснил ей, в каком именно месте он встретил лешего, и вслед за этим мужчины вернулись к своей беседе, которую они вели до захода солнца.

Опомнились они только тогда, когда уже сильно стемнело и на небе вскопчила сумеречная звезда. Тут-то Охапкин и обнаружил, что жены нигде нет. Он осмотрел избу, огород, несколько соседних огородов, побывал на церковных руинах и даже подключил к поискам пойнтера Спиридонского, но все впустую: жены нигде не было; ее так странно не было, как если бы ее не было никогда.

А охапкинская жена в это время преданно разглядывала большое и темное лицо лешего, которое загораживало ей добрую половину ночного неба.

— Интересно, — говорила она, — кто бы у нас с вами мог родиться, не приведи бог?

Леший не отвечал.

СОДЕРЖАНИЕ

Центрально-Ермолаевская война	3
Бич Божий	16
Я и дуэлянты	25
Трагедия собственности	32
Тамбовская революция	37
Прикладная демонология	44

ПЬЕЦУХ Вячеслав Алексеевич

ЦЕНТРАЛЬНО-ЕРМОЛАЕВСКАЯ ВОЙНА

Рассказы

Редактор В. Н. Вигилянский

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 2.03.89. Подписано к печати 20.04.89. А 04433.
Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать.
Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,28.
Тираж 150 000 экз. Зак. № 293. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865,
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

МАГНИТОФОН «РУСЬ-207 СТЕРЕО»— это новый кассетный односкоростной магнитофон с встроенным электретным микрофоном. Он обеспечивает запись и воспроизведение стерео- и монофонических музыкальных и речевых программ. Трехдекадный счетчик расхода ленты с устройством «память» позволит Вам быстро найти необходимые записи и определить расход ленты. Магнитофон работает не только от батареек. Дома его можно включить в сеть переменного тока при помощи встроенного выпрямителя.

Цена — 265 руб.

ЦКРО «Радиотехника»